

Аркадий СТРУГАЦКИЙ  
Борис СТРУГАЦКИЙ

Далекая Радуга  
Отель «У Погибшего Альпиниста»  
Хромая судьба

БИБЛИОТЕКА  
ИЖИСТАНФО

Аркадий СТРУГАЦКИЙ  
Борис СТРУГАЦКИЙ

Далекая Радуга  
Отель «У Погибшего Альпиниста»  
Хромая судьба

27/1









«Библиотека фантастики» в 24 томах

БИБЛИОТЕКА  
ФИАНТИКИ 21/1

Аркадий СТРУГАЦКИЙ  
Борис СТРУГАЦКИЙ

Далекая Радуга  
Отель «У Погибшего Альпиниста»  
Хромая судьба

Москва « Дружба народов » 1996



ББК 84Р7  
С87

Оформление художника  
*Д. Константинова*

**Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.**  
С87 Далекая Радуга; Отель "У Погибшего Альпиниста";  
Хромая судьба: Романы. — М.: Дружба народов, 1996.  
— 608 с. — (Б-ка фантастики в 24 т. Т 21. Кн. 1).  
ISBN 5-285-00290-7

Этот том Библиотеки включает в себя увлекательнейшие фантастические романы: "Далекая Радуга", "Отель "У Погибшего Альпиниста", "Хромая судьба", которые полны тайн, приключений и интриг и рассчитаны на читателей любого возраста.

ISBN 5-285-00290-7

ББК 84Р7

© Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.

© Издательство "Дружба народов",  
оформление, 1996

# ДАЛЕКАЯ РАДУГА

## Глава I

Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели спрессованные степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной.

Потом не к месту и не ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть! Не первый раз. В этот вечер все вызовы не к месту и не ко времени.

— Робик, — шепотом сказала Таня. — Слышишь? — Совершенно ничего не слышу, — пробормотал Роберт. Он помогал, чтобы пощекотать танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заушных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презируют ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, все это было далеко-далеко... Здесь была только ночная степь, на сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов.

Снова заверещал сигнал. — Опять, — сказала Таня.

— Пускай. Меня нет. Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?

— Не знаю.

— Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит.

— Теоретик, — сказала Таня.

— Я не теоретик. Я практик. И, как практик, я тебя спрашиваю: с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь. А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Я много болтаю?

— Да. Ужасно! Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на



двадцатиметровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы.

— А вот я тебя сейчас выключу, — сказал Роберт невнятно. — Танек, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки.

В темноте он видел ее лицо — светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала:

— Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я — галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации.

— У него никогда не бывает галлюцинаций. Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает.

— Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой — как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно.

— Нет, — сказал справедливый Роберт. — Насчет коврижек верно. Но зато он добрый, мягкий и рохля.

— Не верю, — сказала Таня. — Ты только послушай.

— Они послушали. — Разве это рохля? Это явный "tenacem propositi virum"\*.

— Правда? Я ему скажу.

— Скажи. Пойди и скажи.

— Сейчас?

— Немедленно. Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени. — Только поцелуй меня сначала, — попросила она. В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так, с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил: "Любит!.. Меня!.. Меня любит!.. Вот вам, вы!.. Меня!..". Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели: он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону.

---

\* "муж, упорный в своих намерениях" (Гораций).

Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески: — Добрый вечер, поросяенок! И чего это тебе не спится, синичка ты моя, трясогузочка? Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками. — Что же ты смотришь, песик? Верещал-верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь! Патрик, наконец, открыл рот.

— У тебя... Ты... — Он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. — А?... — Еще как! — воскликнул Роберт. — Одиночество! Тоска! Предчувствия! И мало того — галлюцинации! Чуть не забыл! — Ты не шутишь? — серьезно спросил Патрик. — Нет! На посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай. Патрик неуверенно моргал. — Не понимаю, — признался он. — Да где уж тебе, — злорадно сказал Роберт. Это эмоции, Патрик! Знаешь?.. Как бы это тебе попроще, попонятнее?.. Ну, не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?

— Ага, — сказал Патрик. Он поскреб пальцами подбородок, сосредотачиваясь. — Почему я тебе звоню, Роб? Вот в чем дело: опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но, может быть, утечка. На всякий случай проверь ульмотроны. Какая-то странная сегодня волна...

Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому что где-то там — волна.

— Что ты молчишь? — терпеливо спросил Патрик. — Смотрю, как там волна, — сердито сказал Роберт. Патрик вытаращил глаза. — Ты видишь волну? — Я? С чего ты взял? — Ты только что сказал, что смотришь. — Да, смотрю! — Ну? — И все. Что тебе от меня надо? Глаза у Патрика опять посоловели. — Я тебя не понял, — сказал он. — О чем это мы говорили? Да! Так ты непременно проверь ульмотроны.

— Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульмотроны?

— Как-нибудь, — сказал Патрик. — Хотя бы подключения... Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу... Впрочем, это ты все знаешь. — Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами. — Мы ждали волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фон-

танчик... Фонтанчик... — Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал. — Понял? — оглушительно загремело в репродукторе. — Аппаратура у нас регистрирует квази-нуль поле. Счетчик Юнга дает минимум... Можно пренебречь. Поля ульмотронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости, представляешь? Квази-нуль поле двенадцатикомпонентное, и приемник свертывает его по шести четным компонентам. Так что фокус шестикомпонентный.

Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, он картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там, внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нуль-физиками планеты, пока он не выскажет ведущим нуль-физикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нуль-физики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты.

Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди и мужчины и женщины — смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот т а к. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше.

Он рискнул. — Пожалуй, ты прав, — озабоченно заявил он. Однако все это следует тщательно продумать. Патрик опустил глаза. — Продумай, — сказал он, неловко улыбаясь. И не забудь, пожалуйста проверить ульмотроны. Экран погас, и наступила тишина.

Роберт сидел сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и



было. Но сказанная глупость — всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек: все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально, все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Ничепоренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: "Милый Сkläров, вы сложены как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно не совместимы с наукой..."

Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке.

— Да, — сказал он вслух. — Это я могу. Патрик не может. Ничепоренко тоже не может. Один я могу.

Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да, только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет, наконец, эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова и вдруг увижу в каше логико-математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: "Эт-то здорово! Как это ты?", А Маляев нехотя выдавит: "Умело, умело... Не лежит на поверхности..." И я начну уважать себя.

— Урод, — пробормотал он. — Надо было проверять ульмотроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран.

— Танюша, — позвал он в окно.

— Ау?

— Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня "Юность мира"?

Таня, помолчав, негромко сказала: — Подожди, я поднимусь к тебе.

Роберт знал, что ульмотроны в порядке, он это чувствовал. Но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных условиях, во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому, что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значительности и

полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время.

Таня — милый, деликатный человек — сначала молча сидела поодаль, а потом так же молча принялась помогать ему. В три часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос. "И что мы по этому поводу должны думать, Роб?" — спросил он.

Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. "Обычный очередной фонтан, — сказал он. — После вчерашней нуль-транспортировки был такой. И на той неделе такой же". Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно ста граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. "Все дело в массе, сказал Роберт. Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: — Да, сто — сто пятьдесят граммов. Сколько сегодня запустили?.." — "Двадцать килограммов", — ответил Патрик. "Ах, двадцать кило... Да, тогда не получается. — И тут Роберта осенило: — а по какой формуле вы подсчитывали мощность?" — спросил он. "По Драмбе", — безразлично ответил Патрик. Роберт так и подумал: формула Драмбы оценивала мощность с точностью до порядка, а у Роберта давно уже была припасена собственная, тщательно выверенная и выписанная и даже обведенная цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества.

Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: "Ты собираешься выключать?" Патрик не отзывался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно-ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: "Патрик, ты еще будешь говорить?" Голос Патрика пробубнил издалека: "Ничего не понимаю. Придется этим заняться обстоятельно". "Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?" Повторил Гофман. "Да нет же, нет..." — раздраженно

откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь, сказал: "Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?"

Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал:

— Я так и думал. Все ясно. Теперь будем пить кофе. Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала:

— Кофе свари ты, ладно?

— Почему я? — Ты вари, а я посмотрю. — Что это ты? — Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень с о в е р ш е н н о работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения.

— Как кибер, — сказал он, но ему было приятно.

— Нет. Не как кибер. Ты работаешь совершенно. А совершенное всегда радует.

— "Юность мира", — пробормотал он. Он был красен от удовольствия. Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то шенячье изумление и растерянность.

— Таня, — сказал он. — Этого не может быть. Ты галлюцинация. Она улыбалась. — Можешь смеяться, сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: "Фу, глупый, фу!..."

— Фу, глупый, фу! — сказала Таня.

— А по спине?

— А по спине потом. И голову под мышку потом.

— Хорошо, потом. А сейчас? Хочешь, я сделаю себе ошейник? Или намордник...

— Не надо намордник, — сказала Таня. — Зачем ты мне в наморднике?

— А зачем я тебе без намордника?

— Без намордника ты мне нравишься.

— Слуховая галлюцинация, — сказал Роберт. — Чем это я могу тебе нравиться?



— У тебя ноги красивые.

Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги "Юности мира" были изящны с Карла Гофмана.

— Я так и думал, — сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. — Тогда я скажу, за что я люблю тебя. Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение.

— Это моя специальность, — сказала Таня. — Замечательная специальность! Плохо только, что от тебя приходят в хорошее настроение и стар и млад. Особенно млад. Какие-то совершенно посторонние люди. С нормальными ногами.

— Спасибо, Таня. — В последний раз в Детском я заметил одного мальчика. Зовут его Валя... Или Варя... Этакий белобрысый, конопатый, с зелеными глазами.

— Мальчик Варя, — сказала Таня.

— Не придирайся. Я обвиняю. Этот Варя своими зелеными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались.

— Ревность оголтелого эгоиста.

— Конечно, ревность. — А теперь представь, как ревнует он.

— Что-о? — И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую "Юность мира". Атлет, красавец, физик-нулевик несет воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви...

Роберт счастливо засмеялся. — Танюша, как же так? Мы же были тогда одни!

— Это вы были одни. Мы в Детском никогда не бываем одни.

— Да-а... — протянул Роберт. — Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы и мы, пятнадцатилетние балбесы... Я до того доходил, что бросал цветы в окно. Слушай, и часто это бывает?

— Очень, — задумчиво сказала Таня. — Особенно часто с девочками. Они развиваются раньше. А воспитатели у нас, знаешь, какие? Звездолетчики, герои... Это пока тупик в нашем деле.

Тупик, подумал Роберт. И она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой.

— Таня, — сказал он. — Что такое дурак?  
— Ругательство, — ответила Таня.  
— А еще что?  
— Больной, которому не помогают никакие лекарства.  
— Это не дурак, — возразил Роберт. — Это симулянт.  
— Я не виновата. Эта японская пословица: "Нет лекарства, которое излечивает дурака".  
— Ага, — сказал Роберт. — Значит, влюбленный тоже дурак. "Влюбленный болен, он неизлечим". Ты меня утетила.

— А разве ты влюблен?  
— Я неизлечим. Тучи разошлись и открыли звездное небо. Близилось утро.

— Смотри, вон Солнце, — сказала Таня.

— Где? — спросил Роберт без особого энтузиазма Таня выключила свет, села к нему на колени и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать.

— Вот четыре яркие звезды — видишь? Это Коса Красавицы. Левее самой верхней сла-абенькая звездочка. Это наше Солнце...

Роберт поднял ее на руки, встал, осторожно обогнул столик и только тогда в зеленоватом сумеречном свете приборов увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился.

— Я думаю, теперь можно включить свет, сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это.

— И появился третий, — сказала Таня. — Пусти-ка меня, Роб. Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю.

— Знаете что, Камилл, — раздраженно начал Роберт.

— Знаю, — сказал Камилл.

— Чудеса, проговорила Таня, надевая туфлю. — Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на миллион квадратных километров. Хотите кофе?

— Нет, благодарю вас, — сказал Камилл. Роберт включил свет. Камилл, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нем была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых немигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил:

— Вы хоть недавно здесь?

— Недавно. Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите.

— Спасибо, Камилл, — весело сказала Таня. Она причесывалась. — Вы очень тактичны.

— Бестактны только бездельники, — сказал Камилл Роберт разозлился.

— Между прочим, Камилл, что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидение.

— Отвечаю по порядку, — спокойно произнес Камилл. Это тоже была его манера — отвечать по порядку. — Я приехал сюда потому, что начинается извержение. Вы отлично знаете, Роби, — он даже глаза закрыл от скуки, — что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того... — Он открыл глаза и некоторое время молча смотрел на приборы. — Кроме того, вы мне симпатичны, Роби.

Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расческой.

— Что касается моих манер, — продолжал Камилл монотонно, — То они странны. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры.

— Камилл, — сказала Таня неожиданно. А сколько будет шестьсот восемьдесят пять умножить на три миллиона восемьсот тысяч пятьдесят три?

К своему огромному изумлению, Роберт увидел, как на лице Камилла проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое. Так мог бы улыбаться счетчик Юнга.

— Много, — ответил Камилл. — Что-то около трех миллиардов.

— Странно, — вздохнула Таня.

— Что "странно"? — тупо спросил Роберт.

— Точность маленькая, — объяснила Таня. — Камилл, скажите, почему бы вам не выпить чашку кофе?

— Благодарю вас, я не люблю кофе.

— Тогда до свидания. До Детского лететь четыре часа. Роби, ты меня проводишь вниз? Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камилла. Камилл разглядывал счетчик Юнга. Словно в зеркало гляделся.

Как обычно на Радуге, солнце взошло на совершенно чистое небо — маленькое белое солнце, окруженное

тройным галосом. Ночной ветер утих, и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики — пары летучих солей.

Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем не торопясь и со вкусом починил подлокотник. Камилл мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходящее на север. Видимо, ему совсем не было жарко, а Роберту жарко было даже смотреть на него — на его толстую белую куртку, на длинные белые брюки, на круглую блестящую каску. Такие каски надевали иногда во время экспериментов нуль-физики: она предохраняла от излучений.

Впереди был целый день дежурства, двенадцать часов палящего солнца над крышей, пока не рассосутся извержения и не исчезнут все последствия вчерашнего эксперимента. Роберт сбросил куртку и брюки и остался в одних трусах. Кондиционирование работало на пределе, и ничего нельзя было сделать.

Хорошо бы плеснуть на пол жидкого воздуха. Жидкий воздух есть, но его мало, и он нужен для генератора. Придется пострадать, подумал Роберт покорно. Он снова уселся перед приборами. Как славно, что хотя бы в кресле прохладно и обшивка совсем не липнет к телу!

В конце концов говорят, что главное — это быть на своем месте. Мое место здесь. И я не хуже других выполняю свои маленькие обязанности. И в конце концов не моя вина, что я не способен на большее. И между прочим, дело даже не в том, на месте я или нет. Просто я не могу уйти отсюда, если бы даже и захотел. Я просто прикован к этим людям, которые так меня раздражают, и к этой грандиозной затее, в которой я так мало понимаю.

Он вспомнил, как еще в школе поразила его эта задача: мгновенная переброска материальных тел через пропасти пространства. Эта задача была поставлена вопреки всему, вопреки всем сложившимся представлениям об абсолютном пространстве, о пространстве-времени, о каппа-пространстве... Тогда это называли "проколом римановой складки". Потом "гиперпросачиванием", "сигма-просачиванием", "нульсверткой". И, наконец, нуль-транспортировкой или, коротко, "нуль-т". "Нуль-т-установка". "Нуль-т-проблематика". "Нуль-т-испытатель". Нуль-физик. "Где вы работаете?" — "Я нуль-физик". Изумленно-восхищенный взгляд. "Слушайте, расскажите, пожа-

луйста, что это такое — нуль-физика? Я никак не могу понять". — "Я тоже". Н-да...

В общем-то кое-что рассказать было бы можно. И об этой поразительной метаморфозе элементарных законов сохранения, когда нуль-переброска маленького платинового кубика на экваторе Радуги вызывает на полюсах ее — почему-то именно на полюсах! — гигантские фонтаны вырожденной материи, огненные гейзеры, от которых слепнут, и страшную черную волну, смертельно опасную для всего живого...

И о свирепых, пугающих своей непримиримостью схватках в среде самих нуль-физиков, об этом непостижимом расколе среди замечательных людей, которым, казалось бы, работать и работать плечом к плечу, но они таки раскололись (хотя знают об этом немногие), и если Этьен Ламондуа упрямо ведет нуль-физику в русле нуль-транспортировки, то школа молодых считает самым важным в нуль-проблеме волну, этого нового джина науки, рушущегося из бутылки.

И о том, что по неясным причинам до сих пор никак не удастся осуществить нуль-транспортировку живой материи, и несчастные собаки, вечные мученицы, прибывают на финиш комями органического шлака... И о нуль-перелетчиках, об этой "ревушей десятке" во главе с великолепным Габой, об этих здоровых, сверхтренированных ребятах, которые вот уже три года слоняются по Радуге в постоянной готовности войти в стартовую камеру вместо собаки...

— Скоро мы расстанемся, Роби, — сказал вдруг Камилл. Задремавший было Роберт встрепенулся. Камилл стоял спиной к нему у северного окна. Роберт выпрямился и провел рукой по лицу. Ладонь стала мокрой.

— Почему? — спросил он.

— Наука. Как это безнадежно, Роби!

— Я это давно знаю, — проворчал Роберт. — Для вас наука — это лабиринт.

Тупики, темные закоулки, внезапные повороты. Вы ничего не видите, кроме стен. И вы ничего не знаете о конечной цели. Вы заявили, что ваша цель — дойти до конца бесконечности, то есть вы попросту заявили, что цели нет. Мера вашего успеха не путь до финиша, а путь от старта. Ваше счастье, что вы не способны реализовать абстракции. Цель, вечность, бесконечность это только лишь слова для вас. Абстрактные философские катего-



рии. В вашей повседневной жизни они ничего не значат. А вот если бы вы увидели весь этот лабиринт сверху...

Камилл замолчал. Роберт подождал и спросил: — А вы видели? Камилл не ответил, и Роберт решил не настаивать. Он вздохнул, положил подбородок на кулаки и закрыл глаза. Человек говорит и действует, думал он. И все это внешние проявления каких-то процессов в глубине его натуры. У большинства людей натура довольно мелкая, и поэтому любые ее движения немедленно проявляются внешне, как правило в виде пустой болтовни и бессмысленного размахивания руками. А у таких людей, как Камилл, эти процессы должны быть очень мощными, иначе они не пробьются к поверхности. Заглянуть бы в него хоть одним глазком. Роберту представилась зияющая бездна, в глубине которой стремительно проносятся бесформенные фосфоресцирующие тени.

Его никто не любит. Его все знают — нет на Радуге человека, который не знал бы Камилла, — но его никто не любит. В таком одиночестве я бы сошел с ума, а Камилла это кажется, совершенно не интересует. Он всегда один. Неизвестно, где он живет. Он внезапно появляется и внезапно исчезает. Его белый колпак видят то в столице, то в открытом море; и есть люди, которые утверждают, что его неоднократно видели одновременно и там и там. Это, разумеется, местный фольклор, но вообще все, что говорят о Камилле, звучит странным анекдотом. У него странная манера говорить "я" и "вы". Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в совет и говорит там непонятные вещи. Иногда его удается понять, и в таких случаях никто не может возразить ему. Ламондуа как-то сказал, что рядом с Камиллом он чувствует себя глупым внуком умного деда. Вообще впечатление такое, будто все физики на планете от Этьена Ламондуа до Роберта Скларова пребывают на одном уровне...

Роберт почувствовал, что еще немного, и он сварится в собственном поту. Он поднялся и отправился под душ. Он стоял под ледяными струями, пока кожа от холода не покрылась пупырышками и не пропало желание забраться в холодильник и заснуть.

Когда он вернулся в лабораторию, Камилл разговаривал с Патриком. Патрик морщил лоб, растерянно шевелил губами и смотрел на Камилла жалобно и заискивающе. Камилл скучно и терпеливо говорил:

— Постарайтесь учесть все три фактора. Все три фактора сразу. Здесь не нужна никакая теория, только немного пространственного воображения. Нуль-фактор в подпространстве и в обеих временных координатах. Не можете?

Патрик медленно помотал головой. Он был жалок. Камилл подождал минуту, затем пожал плечами и выключил видеофон. Роберт, растираясь грубым полотенцем, сказал решительно:

— Зачем же так, Камилл? Это же грубо. Это оскорбляет. Камилл снова пожал плечами. Это получилось у него так, будто голова его, придавленная каской, ныряла куда-то в грудь и снова выскакивала наружу.

— Оскорбляет? — сказал он. — А почему бы и нет? Ответить на это было нечего. Роберт инстинктивно чувствовал, что спорить с Камиллом на моральные темы бесполезно. Камилл просто не поймет, о чем идет речь.

Он повесил полотенце и стал готовить завтрак. Они молча поели. Камилл удовольствовался кусочком хлеба с джемом и стаканом молока. Камилл всегда очень мало ел. Потом он сказал:

— Роби, вы не знаете, они отправили "Стрелу"?

— Позавчера, — сказал Роберт.

— Позавчера... Это плохо.

— А зачем вам "Стрела", Камилл?

Камилл сказал равнодушно: — Мне "Стрела" не нужна.

## Г л а в а 2

На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал:

— Очень хочется прогуляться.

— Пойдемте, — сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез.

На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий.

— Слишком жарко, — сказал Перси Диксон. Нагрузка на сердце.

Горбовский сорвал у обочины и поднес к лицу цветочек.

— Люблю, когда жарко, — сказал он. — Пойдемте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли. Перси захлопнул дверцу. — Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние двадцать лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже.

— Перси, — сказал Горбовский, — поезжайте лучше в Детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов... "Дядя! Закричат они. — Давай играть в мамонта!"

— Только берегите бороду, — добавил Марк, ослабься. — Они на ней повиснут.

Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе.

— Стареет бородач, — сказал Марк. — Вот и мы ему уже надоели. — Да ну что вы, Марк, — сказал Горбовский. Он вытащил из кармана проигрыватель. — Ничего мы ему не надоели. Просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать — человек потратил на нас двадцать лет: уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет... Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?

Он брел по тропинке следом за Марком, с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками тамтама. Марк поглядел через плечо.

— Выплюньте эту дрянь, — сказал он брезгливо.

— Почему же дрянь? Цветочек. Тамтам гремел.

— Сделайте хотя бы потише, — сказал Марк.

Горбовский сделал потише.

— Еще тише, пожалуйста.

Горбовский сделал вид, что делает тише.

— Вот так? — спросил он. — Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил? — Сказал Марк в пространство.

Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман. Они шли мимо веселых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с оди-

наковыми решетчатыми конусами энергоприемников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка. "Кис-кис-кис!" — обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью кинулась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчелы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп.

— Ну и деревня, — сказал Марк. — Столица. Спят до девяти... — Ну зачем вы так, Марк, — возразил Горбовский. — Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчелки... Киска вон давеча пробежала... Что вам еще нужно? Хотите, я громче сделаю?

— Не хочу, — сказал Марк. — Не люблю я таких ленивых поселков. В ленивых поселках живут ленивые люди.

— Знаю я вас, знаю, — сказал Горбовский. — Вам бы все борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале... Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы. Красивая, и очень больно...

Он присел перед пышным кустом с крупными черно-полосыми листьями. Марк сказал с досадой:

— Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?

— Никогда в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк, давайте я спишу вас с корабля... Вы как-то испортились, избаловались. Разучились радоваться простой жизни.

— Я не знаю, что такое простая жизнь, — сказал Марк, — но все эти цветочки-крапивки, все эти стежки-дорожки и разнообразные тропиночки — это, по-моему, Леонид Андреевич, только разлагает. В мире еще достаточно неустройства, рано еще перед всей этой буколичкой ахать.

— Неустройства — да, есть, — согласился Горбовский. — Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же это жизнь без неустройства? А в общем-то все очень хорошо. Вот слышите, поет кто-то... Невзирая ни на какие неустройства...

Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомокар. На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели:

Мне нужна жена  
Лучше или хуже,  
Лишь бы была женщиной,  
Женщиной без мужа...\*

Атомокар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал:

— Вот это должно нравиться, Марк. В девять часов люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась?

— Это тоже не то, — упрямо сказал Марк. Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с темной водой. Они пошли через заросли высокой, по грудь, желтоватой травы. Стало прохладнее — сверху нависла густая листва черных акаций.

— Марк, — сказал Горбовский шепотом. — Девушка идет! Марк остановился как вкопанный. Из травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и в коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель.

— Здравствуйте! — сказали хором Горбовский и Марк. Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице ее изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись.

— Здравствуйте, девушка! — рявкнул Марк. Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась.

— Здравствуйте, — прошептала она.

— У меня такое ощущение, Марк, — сказал Горбовский, — что мы помешали.

— Может быть, вам помочь? — галантно спросил Марк.

Девушка смотрела на него исподлобья.

— Змеи, — сказала вдруг она.

— Где? — воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу.

— Вообще змеи, — пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. — Видели сегодня восход? — вкрадчиво осведомилась она.

— Мы сегодня видели четыре восхода, — небрежно сказал Марк. Девушка прищурилась и точно рассчитан-

---

\* Из переводов С.Я.Маршака. Взято из первоначального издания в сборнике "Новая сигнальная".

ным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился:

— Валькенштейн. Марк.

— Д-звездолетчик, — добавил Горбовский.

— Ах, Д-звездолетчик, — сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка. Марк смотрел вслед девушке.

— Идите, Марк, идите, — сказал Горбовский. Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолетчик.

Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задержался, и из травы донеслось:

— Вытравливай, Семен, вытравливай!..

Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше.

— Странная девушка, — сказал Горбовский. — Но мила! Кстати, Марк, почему вы все-таки не женились?

— На ком? — спросил Марк.

— Ну-ну, Марк. Не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина. Тонкая и очень деликатная. Я всегда считал, что вы для нее несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала...

— Да так, не женился, — сказал Марк неохотно. — Не получилось.

Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием совета. Вокруг по-прежнему было пусто.

— Она слишком любила музыку, — сказал Марк. — Нельзя же в каждый полет брать с собой хориолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки.

— В каждый полет, — повторил Горбовский. — Все дело в том, Марк, что мы слишком стары. Двадцать лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее — любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы еще встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального.

— Только не Перси, — сказал Марк. — Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами. А влюбленный Перси...

Горбовский представил себе влюбленного Перси Диксона.

— Перси был бы отличный отец, — неуверенно предположил он.

Марк поморщился.

— Это было бы нечестно. А ребенку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель. А человеку — хороший друг. А женщине — любимый человек. И вообще поговорим лучше о стежках-дорожках.

Площадь перед зданием совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий автобус.

— Мне бы хотелось повидаться с Матвеем, — сказал Горбовский. — Пойдемте со мной, Марк.

— Кто это — Матвей?

— Я вас познакомлю. Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич. Он здешний директор. Старый мой приятель, звездолетчик. Еще из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до.

— Ну что ж, — сказал Марк. — Пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звонок. Неудобно все-таки — совет.

Директор им очень обрадовался.

— Великолепно! — басил он, усаживая их в кресла. — Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн? Марк? Ну как же, как же!.. Однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый... Ах да, это он о Диксоне! Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит — я знаю массу бородатых лысых людей! Впрочем, вздор, вздор! Жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика! Обедаем вместе... А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый... Наши собственные! Да! Вино! Свое вино на Радуге, ты представляешь, Леонид? Ну как? Странно, мне нравится... Марк, а вы? Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьете вина! Ах, вы не пьете местных вин? Леонид, у меня к тебе тысяча вопросов... Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите. Я буду судить, карать, распределять блага! Я буду властвовать, предварительно разделив! Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам-диктаторам! Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите! Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуйте. Мне здесь никто не сочувствует... Ведь вам



хорошо здесь, правда? Окно я отворю, пусть ветерок... Леонид, ты представить себе не можешь... Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год.

Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом — огромный, дочерна загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.

— Товарищ директор, — сказала она очень серьезно. — Я Хагтертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер.

— Как так отказываются?

— Я говорила с Родригосом — он, кажется, там главный нулевик? Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу.

— Они морочат вам голову, Элен! — сказал Матвей. — Родригос такой же главный нулевик, как я ромашка-одуванчик. Он сервомеханик и в нуль-проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же.

— Пожалуйста, мы вас очень просим...

Директор, мотая головой, щелкнул переключателями.

— Алебастровая! — гаркнул он. — Дайте Пагаву!

— Слушаю, Матвей.

— Шота? Здравствуй, дорогой! Почему не снимаешь барьер?

— Снял барьер. Почему не снимаю?

— Ага, хорошо. Передай Родригосу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе! Передай, что я его хорошо помню. Как ваша волна?

— Понимаешь... — Шота помолчал. — Интересная волна. Так долго рассказывать, потом расскажу.

— Ну, желаю удачи! — Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. Вот кстати, Леонид! — вскричал он. — Вот кстати! Что у вас говорят о волне?

— Где у нас? — хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. — На "Тариэле"?

— Ну вот что ты думаешь о волне?

Горбовский подумал.

— Ничего не думаю, — сказал он.

— Может быть, Марк? — Он неуверенно посмотрел на штурмана. Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке.

— Если не ошибаюсь, — сказал он, — волна это некий процесс, связанный с нуль-транспортировкой. Я знаю об этом немного. Нуль-транспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика, — он слегка поклонился директору, — но на земле нуль-проблематике не придается особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение.

Директор желчно хохотнул. — Как это тебе нравится, Леонид? — сказал он. — Частная проблема! Да, видно, слишком далека от вас наша Радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик! Я изнемогаю, друзья! Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки, — он вытянул перед собой мощные загорелые длани, — и, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела: "Волна! Волна!" — А другая вопила: "Нуль-т!" И вы думаете, это был научный диспут? Нет! Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии! Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? "Золотой козел" или "Золотой осел"?.. Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии... Честная Радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламондуа в обнимку! Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера волной расколет планету пополам! В каком мире я живу! Ничего не хватает: энергии не хватает, аппаратуры не хватает, из-за каждого желторотого лаборанта идет бой! Люди Ламондуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров — этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о Радуге что-нибудь хорошее! Совет — совет!!! — превратился в конфликтный

орган! Я попросил прислать мне "римское право"... Последнее время я читаю одни исторические романы. Честная Радуга! Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицейпрезидиум!..

Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет десяти. Одна в розовом платье, другая в голубом.

— Ну, ты говори! — сказала розовая полусшепотом. — Почему это я, когда договорились, что ты...

— Договорились, что ты!

— Вредная!.. Здравствуйте, Матвей Семенович.

— Сергеевич!..

— Матвей Сергеевич, здравствуйте!

— Здравствуйте, дети, — сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. — Здравствуйте, цыплята! Здравствуйте, мыши! Розовая и голубая разом зарделись.

— Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в Детское на наш летний праздник.

— Сегодня, в двенадцать часов!..

— В одиннадцать!..

— Нет в двенадцать!

— Приеду! — закричал директор восторженно. — Обязательно приеду! И в одиннадцать приеду и в двенадцать!.. Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно.

— Я тоже поеду в Детское, — заявил он. — Мне совершенно нечего делать. А там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать.

— Детское! — Директор снова перевалился через подлокотник. — Детское — это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети — отличный народ! Они прекрасно понимают слово "нельзя"... О наших нулевиках этого не скажешь, нет! В прошлом году они съели два миллиона мегаватт-часов! В этом — уже пятнадцать и представили заявок еще на шестьдесят. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слова "нельзя"...

— Мы тоже не знали этого слова, — заметил Марк. — Дорогой Марк. Мы жили с вами в хорошее время. Это

был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? Ну что у нас было? Д-процессы, электронная структура... Сопряженными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас? Сейчас эта безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания, подпространство!.. Честная Радуга! Все эти нуль-проблемы! Безусому мальчишке, тонконогому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны тысячи мегаватт, уникальнейшее оборудование, которое на Радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя... Вот вы привезли сотню ульмотронов. Спасибо вам. Но нужно-то их шесть сотен! И энергия... Энергия! Откуда я ее возьму? Вы же не привезли нам энергию! Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Канэко обращаемся к машине: "Дай нам оптимальную стратегию!" Она, бедняга, только руками разводит...

Дверь распахнулась, и стремительно вошел невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. В гладко зачесанных черных волосах его торчали какие-то репы, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство.

— Легко на помине... — начал директор, простирая к нему руку.

— Прошу отставки, — звонким металлическим голосом сказал вошедший. — Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста. — Он коротко поклонился звездолетчикам. — Канэко — план-энергетик Радуги. Бывший план-энергетик.

Горбовский торопливо заскреб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в Триклинии у Лукулла.

— Честная Радуга! — сказал директор озабоченно. — Что еще стряслось?

— Полчаса назад Симеон Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на двое суток вперед. — По лицу Канэко прошла судорога. — Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестна подпрограмма, учитывающая существование Галкина и Постышевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам. Но я не дзюдотэ

и не акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки... Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом, а поперек тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку... — Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репы из волос.

— Где Постышева? — Спросил директор, наливаясь венозной кровью.

Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему. — Постышева сейчас будет здесь, — ответил Канэко. — Я уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал ее сюда от вашего имени.

Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил:

— Внимание, Радуга! Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается.

Он встал, боком подобрался к Канэко, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил:

— Ну что делать, дружище... Я же тебе говорил: Радуга сошла с ума. Терпи, дружище!.. Я тоже терплю. А Постышеву я сейчас взгрею. Она у меня не обрадуется, вот увидишь...

— Я понимаю, — сказал Канэко. — Прошу извинить меня: я был взбешен. С вашего разрешения я отправлюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня — выдача ульмотронов. Вы знаете, пришел десантник с грузом ульмотронов.

— Да, — сказал директор с чувством. — Я знаю. Вот. — Он уставил квадратный подбородок на звездолетчиков. — Настоятельно рекомендую — мои друзья. Командир "Тариэля" Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Валькенштейн.

— Рад, — сказал Канэко, наклонив голову с репьями. Марк и Горбовский тоже наклонили головы. — Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму, — сказал Канэко без улыбки, повернулся и пошел к двери. Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед. Дверь перед Канэко отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты ее были прожжены сбоку, а левая

рука испачкана копотью. Рядом с нею изящный и подтянутый Канэко казался пришельцем из далекого будущего.

— Извините, пожалуйста, — сказала брюнетка бархатым голосом. — Разрешите войти. Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?

Канэко, отвернув лицо, обошел ее стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и уперся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело.

— Ты что думаешь, Постышева, — едва слышно начал он, — я не знаю, чьи это затеи?..

На экране появился розовощекий юноша в кокетливо сдвинутом набок беретике.

— Простите, Матвей Сергеевич, — весело улыбаясь, сказал он. — Я хотел напомнить, что два комплекта ульмотронов наши.

— В порядке очереди, Карл, — буркнул Матвей.

— В порядке очереди мы первые, — сообщил юноша.

— Значит, вы получите первыми. — Матвей все время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и непрístupный.

— Простите еще раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик...

— Не беспокойтесь, Карл, — сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. — Ты только полюбуйся, Леонид! Пришел и ябедничает! Кто? Гофман! На кого? На учителя своего — Форстера! Ступайте, ступайте, Карл! Никто не получит вне очереди.

— Спасибо, Матвей Сергеевич, — сказал Гофман. — Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем.

— Он с Маляевым! — сказал директор, поднимая глаза к потолку. Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой урюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно:

— Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульмотронов...

— Ульмотроны в порядке очереди, — сказал Матвей.

Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла.

— Нам полагается вне очереди, — сказал человек в очках.

— Значит, вы получите вне очереди, — сказал Матвей.

— Существует очередь внеочередников, и ты там вось-

мым... Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, посплюнув палец, стерла сажу с локтя. — Одну минуточку, Постышева, — сказал Матвей и наклонился к микрофону. — Внимание, Радуга! Говорит директор. Распределение ульмотронов, прибывших на звездолете "Таризель", будет производиться по спискам, утвержденным в совете, и никаких исключений делаться не будет.

— Так вот, Постышева... Вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок... Да, да, я был терпелив. Я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но Честная Радуга! Есть же предел всему! Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолетом отправляю тебя на Землю.

Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой, Горбовский пригорюнился. Директор, выпятив челюсть, смотрел на Постышеву.

— И поздно теперь плакать, Александра, — сказал он. — Плакать надо было раньше. Вместе с нами.

В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза.

— Хэлло! — сказала она, приветливо улыбаясь. — Матвей, я не помешала вам? О! — Она заметила Постышеву. — Что такое? Мы плачем? — Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди. Матвей, это вы? Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы!

Директор пошевелил усами.

— Доброе утро, Джина, — сказал он. — Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжело оскорбила Канэко, и она украла энергию...

— Какой вздор! — воскликнула Джина. — Успокойся, девочка! Какие слова: "украла", "оскорбила", "энергия"! У кого она украла энергию? Ведь не у Детского же! Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию — Аля Постышева или этот ужасный Ламондуа!

Директор величественно поднялся. — Леонид, Марк, — сказал он. — Это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина, это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолетчики. Звездолетчики встали. — Хэлло, — сказала Джина. — Нет, я не хочу с вами знакомиться... Почему вы — двое здоровых, красивых



мужчин — так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?

— Мы не равнодушны! — запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. — Мы как раз хотели вмешаться...

— Так вмешивайтесь же! Вмешивайтесь! — сказала Джина.

— Ну знаете, товарищи! — загремел директор. — Мне это совсем не нравится! Постышева, вы свободны. Идите, идите... В чем дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело... Ну, вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал!

Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину.

— Ну, разумеется, — сказала она. Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.

— Отрекусь, — сказал он. — Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?

— Понимаю, — сказала Джина, подходя к столу. — Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки.

— Скажите это Ламондуа. Или Пагаве. Или Форстеру. Или, к примеру, Канэко. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие. И хватит об этом, с вашего позволения! Я вас слушаю.

— Да, хватит, — сказала Джина. — Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны люди. Нет-нет... — Она подняла маленькую ладонь. — Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей.

— Если поманите вы, — сказал Матвей, — то сбегут и сами руководители...

— Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно двадцать человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина.

Матвей вздохнул. — Чем вам не понравились кальмары? — сказал он.

— У меня нет людей.

— Хотя бы десять человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели? Матвей оживился.

— Да, верно! — сказал он. — Габа! Где у меня сейчас

Габа? Ага, помню... Все в порядке, Джина, у вас будут десять человек.

— Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свиданья, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады.

— Уф!.. — сказал Матвей, когда дверь закрылась. — Прелестная женщина, но работать я предпочитаю все-таки с Ламондуа... Но каков твой Марк!

Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе еще соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихонько: "Можно?" — Включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла.

— Да! — мечтательно произнес он. — А помнишь, Леонид, — слепое пятно, Станислав Пишта кричит на весь эфир... Да, кстати! Ты знаешь...

— Матвей Сергеевич, — сказал голос из репродуктора. — Сообщение со "Стрелы".

— Читай, — сказал Матвей, наконец-то вперед.

— "Выхожу на деритринитацию. Следующая связь через сорок часов. Все благополучно. А н т о н". Связь неважная, Матвей Сергеевич: магнитная буря...

— Спасибо, — сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. — Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле?

— Что он никогда не снимает шлема, — сказал Горбовский. — Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались. И он мне прямо ответил.

— И что ты думаешь о нем? Горбовский подумал. — Я думаю, что это его право. Горбовский не хотел говорить на эту тему. Некоторое время он слушал тамтам, затем сказал: — Понимаешь, Матюша, как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилла. И все меня спрашивают, что да как. А я этой теме не люблю. Если у тебя есть какие-нибудь конкретные вопросы, пожалуйста.

— Есть, — сказал Матвей. — Камилл не сумасшедший.

— Не-ет, ну что ты! Он просто обыкновенный гений. — Ты понимаешь, я все время думаю: ну что он все предсказывает и предсказывает? Какая-то у него мания — предсказывать...

— И что же он предсказывает? — Да так, пустяки, — сказал Матвей. — Конец света. Вся беда в том, что его, беднягу, никто-никто не может понять... Впрочем, не будем об этом. О чем это мы с тобой говорили?..

Экран снова осветился. Появился Канэко. Галстук у него съехал набок.

— Матвей Сергеевич, — сказал он, чуть задыхаясь. — Разрешите уточнить список. У вас должна быть копия.

— О, как мне все это надоело! — Сказал Матвей. — Леонид, прости меня, пожалуйста. Мне придется уйти.

— Конечно, иди, — сказал Горбовский. — А я пока прогуляюсь обратно на космодром. Как там мой "Тариэль"...

— К двум часам ко мне обедать, — сказал Матвей. Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость тамтама до предела.

### Глава 3

К десяти часам жара стала невыносимой. Из раскаленной степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла два мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к трем будет гораздо тяжелее, а там, глядишь, и вечер. Камилл застыл у северного окна. Они больше не разговаривали.

Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи, счетчик юнга медленно, незаметно для глаза наливался густым сиреневым светом, тоненько пищали ульмотроны — за их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мертвой земли били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли...

Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик или — что было бы страшно в такую жару — Маляев. Но это оказалась Таня, веселая и свежая; и было сразу видно, что там у нее нет сорокаградусной жары, нет вонючих испарений мертвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе.

— Как ты там без меня, Робик? — спросила она. — Плохо, — пожаловался Роберт. — Пахнет. Жарко. Потно. Тебя нет. Спать хочется невыносимо, и никак не заснуть.

— Бедный мальчик! А я славно вздремнула в вертолете.

У меня тоже будет трудный день. Летний праздник — всеобщее столпотворение, столоверчение и светопреставление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один?

— Нет. Вон стоит Камилл и не видит нас и не слышит. Танек, я сегодня жду тебя. Только где?

— А ты разве сменяешься? Жалко. Полетим на юг! — Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино... Ледяное! — Роберт застонал и закатил глаза. — Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать!

— Я тоже... — Она оглянулась. — Целую, Роби, сказала она. — Жди звонка.

— Очень буду ждать, — успел сказать Роберт. Камилл все смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные, белые, гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами.

— Началось, — сказал вдруг Камилл. — Советую посмотреть. — Что началось? — спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься. — Пошла степь, — сказал Камилл. Роберт неохотно встал и подошел к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, вглядевшись, он так стремительно подался вперед, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет — жуткая красноватая каша ползла через желтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки.

— Мама моя!.. — ахнул Роберт. — Красная зерноедка! Что же вы стоите?! — Он метнулся к видеофону. — Пастухи! — Крикнул он. — Дежурный!

— Дежурный слушает.

— Говорит пост Степной. С севера идет зерноедка! Вся степь покрыта зерноедкой!

— Что? Повторите... Кто говорит?

— Говорит пост Степной, наблюдатель Сляров! Красная зерноедка идет с севера! Хуже, чем в позапрошлом году! Поняли? Вся степь кишит зерноедкой!

— Есть... Ясно... Спасибо, Сляров... Вот беда! А у нас все на юге... Вот беда!.. Ну ладно...

— Дежурный! — крикнул Роберт. — Слушайте, свяжи-

тесь с алебастровой или с Гринфилдом, там полно нулевиков, они помогут!

— Все понял! Спасибо, Скляр. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста.

Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом, травы уже не было видно.

— Вот несчастье! — бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. — Вот уж действительно беда!

— Не обольщайтесь, Роби, — сказал Камилл. — Это еще не беда. Это просто интересно.

— А вот выхрет она посевет, — сказал Роберт со злостью, — останемся без хлеба, без скота.

— Не останемся, Роби. Она не успеет. — Надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идет. Ведь вся степь красная. — Катаклизм, — сказал Камилл. Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днем на Радуге никогда не бывает туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысячи птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу.

— Откуда птицы? — проговорил он. — Все спасается, — сказал Камилл. — Все бежит. На вашем месте, Роби, я бы тоже бежал. Идет волна.

— Какая волна? — Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. — Нет же никакой волны, Камилл...

— Нет? — сказал Камилл хладнокровно. — Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим.

— Я и не собирался бежать. Меня просто удивляет все это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня.

— Там очень много птиц, — сказал спокойно Камилл. — Там огромные синие озера, тростники... — Он замолчал.

Роберт недоверчиво посмотрел на него. Десять лет он работал на Радуге и всегда был убежден, что к северу от Горячей параллели нет ничего: ни воды, ни травы, ни жизни. Взять флаер и слетать туда с Танюшкой, мельком подумал он. Озера, тростники...

Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.

— Скляр, — сказал он обычным неприязненным

тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым, виноватым за все, в том числе за зерноедок и за птиц. — Складов, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Заберите оба ульмотрона.

— Федор Анатольевич, — сказал Роберт. — Идет зерноедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам...

— Не отвлекайтесь. Я повторяю. Заберите оба ульмотрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?

— Да.

— Сейчас... — Маляев посмотрел куда-то вниз. Сейчас десять сорок пять. В одиннадцать ноль-ноль вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я выдвигаю "харибды", и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульмотроны — бросьте их.

— А что случилось?

— Идет волна, — сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. — Она перешла Горячую параллель. Торопитесь. Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.

— Ну, это не мое дело, — сказал Роберт вслух. — Камилл, вы мне поможете?

— Теперь я уже никому не могу помочь, — отозвался Камилл. — Впрочем, это не мое дело. Что нужно — тащить ульмотроны?

— Да. Только сначала их надо демонтировать.

— Хотите добрый совет? — сказал Камилл. — Добрый совет за номером семь тысяч восемьсот тридцать два. Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы. — Давайте ваш совет, — сказал он.

— Бросьте эти ульмотроны, садитесь в вертолет и летите к Тане.

— Хороший совет, — сказал Роберт, торопливо обрывая соединения. — Приятный. Помогите-ка мне его вытащить... Ульмотрон весил около центнера, толстый гладкий цилиндр в полтора метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать.

— Достаточно, — сказал Камилл.

— Спустимся вместе. — Надо взять второй.

— Роби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета. Роберт посмотрел на часы. — Время есть, — деловито сказал он. — Спускайтесь и

выкатывайте его на землю. Камилл закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. Птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра.

— Успеть бы! — вслух подумал Роберт. Он, напрягаясь, вытянул второй ульмотрон, поднял на плечо и понес к лифту. Тут за его спиной с раздражающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульмотрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъемника взвыл вхолостую и сейчас же умолк.

— Ками-илл! — крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери.

Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъемник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькало внизу у подножья вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьется и мотается под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. Хороша ловушка, подумал он. Патрика бы сюда...

— Ками-и-илл! — крикнул он изо всех сил. Но он еле слышал собственный голос. Через окно... Нельзя, сорвет ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокар-то разбит... Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Что там Камилл возится, я бы на его месте уже починил лифт... Лифт!

Перешагивая через обломки, он вернулся к решетчатой двери и вцепился в нее обеими руками. А ну-ка, "Юность мира", подумал он. Дверь была сделана добротно. Если бы фермы вышки были сделаны так же, лифт нипочем не вышел бы из строя. Роберт лег спиной на дверь и согнутыми ногами уперся в стену тамбура. Ну-ка... Р-раз! В глазах у него потемнело. Что-то хрустело: не то дверь, не то мускулы. Еще р-раз! Дверь подалась. Сейчас она вылетит, подумал Роберт, и я свалюсь в шахту. Двадцать метров вниз головой, и сверху на меня упадет ульмотрон. Он перевернулся и уперся спиной в стену, а ногами в дверь. Тр-рах!.. У двери вылетела нижняя поло-



вина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно. Он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащило вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка все кренилась и кренилась, и не было этому конца.

Он спускался, цепляясь за фермы и распорки, и тугой, колючий от пыли ветер прижимал его к теплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше и что степь снова залита солнцем. Вышка все кренилась. Он так торопился узнать, что с птерокаром и куда девался Камилл, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось еще метра четыре. Он больно стукнулся ногами и потом руками. И первое, что он увидел, были пальцы Камилла, вонзившиеся в сухую землю.

Камилл лежал под опрокинутым птерокаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах.

— Камилл, — позвал Роберт. Ветер бешено мотал над его головой обломок исковерканного крыла. Ветер нес струи желтой пыли. Ветер свистел и визжал в фермах покосившейся вышки. В мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце. Оно казалось косматым.

Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжелую машину, но только на секунду. Он снова взглянул на Камилла. Все лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем.

У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мертвым. Ему хотелось плакать. Прощайте, Камилл. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас, так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому, что не надеялся вас понять. Вы были на голову выше всех, а уж меня и подавно. А теперь я не могу столкнуться с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами. Но меня ждет Таня, меня, может быть, ждет даже Маляев, и потом я ужасно хочу

жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти. И все-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего... Я дурак, мне нужно было послушаться вашего семитысячного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать?..

Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилла, он увидел волну.

Далеко-далеко над северным горизонтом за красноватой дымкой оседающей пыли сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце.

Ну, вот и все, вяло подумал Роберт. Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше, а здесь останется гладкая черная пустыня. Башня, конечно, останется, и ничего не случится с ульмотронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии. И, может быть, от Камилла останется шлем. А уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя — похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. Жалко, подумал он. И тут он заметил флаер.

Флаер стоял за вышкой — маленький двухместный флаер, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флаер Камилла. Конечно же, это был флаер Камилла!

Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом сломя голову помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флаера, словно боясь, что он вдруг исчезнет, споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжелый цилиндр ульмотрона с гладкими, досия полированными боками еще тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась черная стена. Роберт подбежал к флаеру, подняв тучу пыли, прыгнул в сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ.

Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью пятьсот километров в час. Флаер неся над степью, как блоха, — огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи все казалось обычным: и сухая ще-

тинистая трава, и дрожащие марева над солончаками, и редкие полосы Карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах северной Радуги, самой природой предназначенных для сумасшедших экспериментов нуль-физиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фын-Чена, тогда все здесь было черно, но прошло всего семь лет, и цепкая неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений.

Все вернется, думал Роберт. Все будет по-прежнему, только Камилла больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: "Ульмотроны ваши я бросил". А он процедит сквозь зубы: "Как вы смели, Складов?.." И тогда я ему скажу: "Наплевать мне на ульмотроны, потому что погиб Камилл из-за ваших ульмотронов!" А он скажет: "Это, конечно, очень жаль, но ульмотроны нужно было привезти". И тогда я, наконец, рассвирепею и скажу ему все. "Сосулька ты! — Скажу я. — Снежная ты баба с электронным управлением. Как ты смеешь думать об ульмотронах, когда погиб Камилл?.. Равнодушный ты человек, ящерица!"

В двухстах километрах от Гринфилда он увидел "харибды" — гигантские телемеханические танки, несущие отверстые пасти энергопоглотителей. "Харибды" шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лягом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в желтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем. А далеко справа в тусклом небе моталась едва заметная точка — это был вертолет-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. "Харибды" шли на волну.

Энергопоглотители, по-видимому, еще не работали, но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал

снижение, только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд — несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженные пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная "харибда", устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя, и еще две "харибды" стояли справа и слева от поселка. Два вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зеленых газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди.

Роберт подогнал флаер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся, женский голос вскрикнул: "Кто-это?" Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в свое отражение, — почти голый, весь в спекшейся пыли, глаза злые, через грудь и живот идет широкая черная царапина... Ладно, подумал он и рванул дверь. "Да ведь это Роберт!" — Крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. "Патрик, — сказал Роберт. — Патрик, дружище, Камилл погиб..." Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошел дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков Шота Петрович Пагава, Карл Гофман и еще какие-то люди — кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул: "Откуда он знает?"

— Камилл... — сказал Роберт сипло и закашлялся. Все с недоумением смотрели на него. — В чем дело? — резко спросил Маляев. — Что с вами, Складов, почему вы в таком виде? Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо: — Камилл погиб. Его раздавило.

Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились. — Как раздавило? Где?..

— Его раздавило птерокаром, — сказал Роберт. — Из-за ваших драгоценных ульмотронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульмотроны, и его раздавило. А ваши ульмотроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет волна. Понимаете? Бросил. Они там сейчас валяются.

Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем

белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой.

— Очень тяжело... — сказал, наконец, Маляев. Это был большой человек. — Он потерял лоб. — Очень большой человек. — Он снова поглядел на Роберта. — Вы очень устали, Скларов...

— Я не устал.

— Приведите себя в порядок и отдохните.

— И это все? — горько спросил Роберт.

Лицо Маляева стало прежним — равнодушным и жестким. — Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели волну?

— Видел. Волну я тоже видел.

— Какого типа волна?

В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все встало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Скларов, он же "Юность мира".

— Кажется, третьего, — покорно сказал он. Лю-волна. Пагава поднял голову. — Хорош-шо! — неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. — Ай, Камилл, ай, Камилл, — забормотал он. — Ай, бедняга!.. — Он схватил себя за большие, оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами.

Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть.

— Виноват, — сказал он робко. — А чем это хорошо — лю-волна? Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жестким взглядом. — Это значит, — сказал он, — что погибнет только северная полоса посевов. Но мы еще не уверены, что это лю-волна. Наблюдатель мог ошибиться.

— Ну как же так? — заныл биолог. — Договаривались же... У вас есть эти... "Харибды"... Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?

Карл Гофман сказал: — Возможно, удастся погасить инерцию волны на линии дискретного перепада.

— Что значит "возможно"? — воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. — Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?

— Я не принимаю таких претензий, — холодно сказал Маляев. — Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии

должны быть адресованы Этьену Ламондуа. Мы не ставим нуль-экспериментов. Мы изучаем волну...

Роберт повернулся и медленно пошел к двери. И нет им никакого дела до Камилла, думал он. Волна, посевы, мясо... За что они его так не любили? Потому что он был умнее их всех, вместе взятых? Или они вообще никого не любят? В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика.

— Пойдем, Роб, я помогу тебе отмыться...

— Патрик, — сказал Роберт и положил руку ему на плечо. — Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком...

Лицо Патрика страдальчески искривилось. — Ну что ты, Роб, — пробормотал он. — Не надо. Это пройдет.

— Пройдет, — повторил Роберт. — Все пройдет. Волна пройдет. Жизнь пройдет. И все забудется. Не все ли равно, когда забудется? Сразу или потом...

За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал: "Сводку!" Шота кричал: "Не прекращать замеры ни на секунду! Используйте всю автоматику! Прах с ней, потом бросите!"

— Пойдем, Роб, — попросил Патрик. И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загредел знакомый монотонный голос: — Прошу внимания!

Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые немигающие глаза Камилла.

— У меня мало времени, — говорил Камилл. Это был настоящий, живой Камилл — у него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного носа. — Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте "Стрелу". Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно! Он повернул голову и посмотрел куда-то вбок, и стала видна его щека, испачканная пылью. — За лю-волной идет волна нового типа. Вам ее...

Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.

## Глава 4

На Радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет, десантный сигма-д-звездолет "Тариэль-второй". Он был виден издали — бело-голубой купол высотой в семьдесят метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно: плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прошупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз.

Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые "биндюги", туристские "дилижансы", легковые "тестудо" и "гепарды" и даже один "крот" — громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепеке стояли несколько вертолетов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульмотронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди.

В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флаером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флаер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом.

— Я за вами, — деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.

— Не советую, мягко сказал Горбовский. Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета.

На лице водителя изобразилось восхищение. — Великолепно! — вполголоса воскликнул он, осторожно озира-

ясь по сторонам. — Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?

— Горбовский, — сказал Горбовский, слегка кланяясь.

— А штурмана?

— Валькенштейн.

— Превосходно, — деловито сказал водитель птерока-  
ра.

— Итак, вы — Горбовский, а я — Валькенштейн. Пошли! Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся. — Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульмотрону и запремся в кают-компаниии. Когда все это кончится, — он небрежным жестом указал на машины, — мы спокойно выйдем.

— А вдруг придет настоящий штурман?

— Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий, — веско возразил самозванный штурман. Горбовский хихикнул и сказал: — Пошли. Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно — у него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас.

— Я полагаю, — во всеуслышание вещал он, что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину! Вы мешаете... Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деритринитацию... Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец... Вышлите представителей... Валентин Петрович, не знаю как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов...

— Вы совершенно правы, Марк, — сказал Горбовский, развлекаясь.

— Что? Ну да, само собой... Ужасные нравы!

Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины "биндюга", осведомилась:

— Штурман и капитан, если не ошибаюсь?

— Да! — с вызовом сказал штурман. — И, как штурман, я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки.



— Вы думаете, это необходимо?

— Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону...

— А знаете, друзья, — раздался веселый молодой голос, — у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух.

— Что вы хотите этим сказать? — оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-Нерона.

— Понимаете, — проникновенно сказала девушка в косынке. — Вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики — это упаковка ульмотронов, которые увез бортинженер — скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный совета...

— Как вам это нравится, Валентин Петрович? — вскричал лжештурман. — Самозванцы, а?

— У меня такое ощущение, — задумчиво сказал Горбовский, — что мне не попасть на собственный корабль.

— Верное рассуждение, — сказала девушка в косынке. — И уже не новое.

Штурман решительно было двинулся вперед, но тут "биндюг" справа немного передвинулся влево, черно-желтый "дилижанс" слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочались, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья "крота".

— Валентин Петрович! — с негодованием воскликнул лжештурман. — В таких условиях я не гарантирую готовности звездолета!

— Старо! — грустно сказал водитель "дилижанса". Звонкий веселый голос проговорил: — Какой это штурман! Скука зевотная. Вот помните второго штурмана — этот действительно развлек! Как он задира! на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!

— Нет, первый был лучше, — сказал, обернувшись, водитель "крота".

— Да, он был хорош, — согласилась девушка в косынке. — Как это он шел среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: "Галю моя, Галю! Галю дорогая! Далеко ты, Галю, от ридного краю!"

Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев "крота".

— Ну, а вы что скажете? — обратился водитель "дилижанса" к Горбовскому. — Что же вы все молчите? Надо что-нибудь говорить... Что-нибудь убедительное...

Все с любопытством ждали.

— Вообще я мог бы войти через пассажирский люк, — задумчиво сказал Горбовский. Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.

— Не могли бы, — покачал головой водитель. — Он заперт изнутри.

В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Канэко:

— Не могу я вам дать десять комплектов, поймите, товарищ Прозоровский!

— А вы поймите меня, товарищ Канэко! У нас заявка на десять комплектов. Как я вернусь с шестью? Кто-то вмешался:

— Берите, Прозоровский, берите... Берите пока шесть. У нас четыре комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю.

— Вы обещаете?

Девушка в косынке сказала:

— Прозоровского просто жалко. У них шестнадцать схем на ульмотронах!

— Да, нищета, — вздохнул водитель "дилижанса".

— А у нас пять, — горестно сказал лжештурман. — Пять схем и всего один ульмотрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук двести.

— Мы могли бы привести и двести и триста, — сказал Горбовский. — Но ульмотроны нужны сейчас всем. На Земле заложили шесть новых У-конвейеров...

— У-конвейер! — сказала девушка в косынке. — Легко сказать!.. Вы представляете себе технологию ульмотрона?

— В самых общих чертах. — Шестьдесят килограммов ультрамикрорезонансов... Ручное управление сборкой, полумикронные допуски... А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли?

— Набирают добровольцев, — сказал Горбовский.

— А!.. — с отвращением сказал водитель "крота". — Неделя помощи физикам!..

— Ну что ж, Валентин Петрович, — сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. — Так нас, по-видимому, и не пустят...

— Меня зовут Леонид Андреевич, — сказал Горбовский.

— А меня Ганс, — уныло признался лжештурман. — Пошли посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится... Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими

лжезвездолетчиками. Их встретили сочувственно-насмешливым молчанием.

Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жесткая. На солнцепеке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: "Можно я лягу?", Лег, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.

— Меня зовут Горбовский, — представился он. Леонид. Я был капитаном этого звездолета.

— Я тоже был капитаном этого звездолета, — мрачно сообщил грузный темнлицый человек, сидевший справа. — Меня зовут Альпа.

— А меня зовут Банин, — заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме. — Я был и остаюсь штурманом. Во всяком случае, пока не получу ульмотрон.

— Ганс, — коротко сказал лже-Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру.

Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени.

Из толпы выехал длинный "гепард". Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульмотронов, и "гепард" умчался в степь.

— Прозоровский, — сказал Банин с завистью. — Да, — сказал Альпа горько. — Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа. — Он глубоко вздохнул. — Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень плохо на душе.

Банин сказал глубокомысленно: — Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последствие.

— Все дело в системе, — сказал Ганс. — Все дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого лучше выходит.

— А вы предложите другую установку, — сказал Горбовский. — Не получается у тебя ничего — на тебе ульмотрон. Получается — посиди на ящиках...

— Да, — сказал Альпа. — Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слышал об очередях за оборудованием? Или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали... Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется.

То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим увлечением занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод — нейтринный анализ. — Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним. Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему — я просто смотрю вокруг, — среднему исследователю требуется сейчас раз в двадцать больше энергии и оборудования, чем в мое время. — Он глубоко затынулся, и трубка засипела и захрипела. — Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей.

— Заколдованный круг, — сказал Банин. Прозевали наши экономисты.

— Экономисты тоже исследователи, — возразил Альпа. — Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите нуль-т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед — быстрее, глубже и... Уже. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. Сорок человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей

Радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли! А остальные две трети сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут? Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение.

Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался "крот". В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульмотрона. Проезжая мимо, водитель помалал лжезвездолетчикам.

— Хотел бы я знать, зачем Следопытам ульмотрон, — пробормотал Ганс.

Никто не ответил. Все провожали взглядом "крота", на задней стенке которого красовался опознавательный знак Следопытов — черный семиугольник на красном щитке.

— По-моему, все-таки, — сказал Банин, — виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было двадцать лет назад повернуть школы так, что бы сейчас хватало кадров для обеспечения науки.

— Не знаю, не знаю, — сказал Альпа. — Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульмотронов.

— Ну, это еще надо доказать, — сказал Банин. — А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил. — Такое предположение порочно, — заявил Банин. Он начинал горячиться. — Оно утверждает кризис на вечные времена! Это же тупик!..

— Почему же тупик? — тихонько сказал Горбовский. — Наоборот. Банин не слушал.

— Надо выходить из кризиса! — говорил он. Надо искать выходы! И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях!

— А почему же в мрачных? — сказал Горбовский. На него опять не обратили внимания.

— Отказываться от основного принципа распределения нельзя, — говорил Банин. — Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете двадцать лет жевать одну частную проблему, а

энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламондуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь? Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?

— Я старый научный работник и старый человек, — сказал Альпа. — Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям я убежден, что смысл человеческой жизни — это научное познание. И, право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова... Вообще создают в п е ч а т л е н и я. А ведь среди них много потенциально великолепных работников. Энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.

— Ну, ну! — сказал Банин. Альпа промолчал и начал набивать трубку.

— Разрешите, я продолжу вашу мысль, — сказал Горбовский. — Я вижу, вы не решаетесь.

— Попробуйте, — сказал Альпа. — Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые у-конвейеры, собирать тау-тракторы, лить эргохронные призмы...

— Вот чепуха! — разочарованно сказал Банин.

— Да, это чепуха, — согласился Альпа. — Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла... И не только у меня.

— Это бесплодная мысль, — лениво сказал Горбовский, глядя в небо. — Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию, старому и банальному, — между машинной логикой и

системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение.

Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил: — Мысль страшненькая. Помните "Проект десяти"? Когда совету предложили перебросить в науку часть энергии из фонда изобилия... Во имя чистой науки попрятать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг: "Ученые готовы голодать"?

Банин подхватил: — А Ямакава тогда встал и сказал: "А шесть миллиардов детей не готовы. Так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты".

— Я тоже не люблю изуверов, — сказал Горбовский.

— Я вот недавно прочел книгу Лоренца, — сказал Ганс. — "Люди и проблемы"... Читали?

— Читали, — сказал Горбовский. Альпа отрицательно помотал головой. — Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом.

— Ну, ну? — сказал Банин.

— Я, помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут, — знаете, обычная нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние.

— Ну, ну? — сказал Банин.

— И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из двух-трех направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?

— А, чушь! — сказал Банин.

— Ну почему же чушь? — спросил Ганс обиженно. — Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал...

Альпа сказал: — Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвется сломя голову к осуществлению нуль-т. Нуль-т, как и следовало ожидать, дает массу

новых ответвлений. Но Ламондуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их. Потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, его проблема становится все уже. Волна осталась у него далеко в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы...

Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения: — Внимание, Радуга! Говорит директор. Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне.

— Счастливые люди, — сказал Ганс. — Никакие ульмотроны им не нужны.

— У них своих забот хватает, — сказал Банин. — Видел я однажды, как они тренируются, нет уж, я лучше буду лжештурманом... А потом два года сидеть без своего дела и каждый день слышать: "Потерпите еще чуть-чуть. Вот, может быть, завтра..."

— Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, — сказал Горбовский. — "Белые пятна" науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо... Например, Массачусетская машина. — Альпа покивал. Горбовский обратился к нему: — Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошел.

— Ничего не могу вспомнить о Массачусетской машине, — сказал Банин. — Ну, ну?

— Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя... Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое... И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой — хотите верьте, хотите нет.

— А в чем, собственно, дело? — спросил Банин.



— Она начала в е с т и с е б я, — сказал Горбовский.  
— Не понимаю.  
— И я не понимаю, но ее едва успели выключить.  
— А кто-нибудь понимает?  
— Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: "Леонид, это было страшно".

— Вот это здорово, — сказал Ганс.  
— А, — сказал Банин. — Чушь. Это меня не интересует.  
— А меня интересует, — сказал Горбовский. Ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом совета, но почему бы не снять запрет?

Альпа проворчал:

— Каждому времени свои злые волшебники и привидения.

— Кстати, о злых волшебниках, — подхватил Горбовский. — Я немедленно вспоминаю о казусе чертовой дюжины. У Ганса горели глаза.

— Казус чертовой дюжины — как же! — сказал Банин.  
— Тринадцать фанатиков... Кстати, где они сейчас?

— Позвольте, позвольте, — сказал Альпа. — Это те самые ученые, которые срашивали себя с машинами? Но ведь они же погибли.

— Говорят, да, — сказал Горбовский, — но ведь не в этом дело. Прецедент создан.

— А что, — сказал Банин. — Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций... Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами... Я это себе прекрасно представляю. Человек-флаер, человек-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный...

— Прощу прощения, но это не человек, — проворчал Альпа. — Это массачусетская машина.

— А как же они погибли, если они бессмертны? — Спросил Ганс.

— Разрушили сами себя, — сказал Горбовский. — Видно, не сладко быть человеком-лабораторией.

Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и подбежал помочь ему. Горбовский задумчиво

наблюдал, как они грузят ульмотрон в вертолет. Багровый человек жаловался:

— Мало того, что дают один вместо трех. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе еще приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить — тебе не верят! Не верят!!!

Когда Банин вернулся, Альпа сказал: — Все это довольно фантастично.

Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на волну. Каждая неделя — Очередная нуль-транспортировка. И каждая нуль-транспортировка вызывает волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются волной дилетантски. Не получилось бы второй массачусетской машины, только без выключателя. Камилл — вы знаете Камилла? — Рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.

— Кстати, — сказал Ганс, — знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой — это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времен, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: "Человечество накануне раскола. Эмоционалисты и логики — по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки — становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоционалистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждые друг другу, как мы чужды леонидянам..."

— А, — сказал Банин. — Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь — вот тебе логик, а вот эмоционалист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошелся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше... Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?

— Я тоже так подумал, — сказал Ганс. — Но он

говорил, что, во-первых, гений нашего времени — это средний человек будущего; а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два — эмоциалист и логик. Во всяком случае, так я его понял.

— Я тобой восхищаюсь, — сказал Банин. По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего.

— А может быть, это был очередной парадокс Камилла? — сказал Горбовский задумчиво. — Он любит парадоксы. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно.

— Ну, Леонид Андреевич, — сказал Ганс весело. — Вы все-таки учитывайте, что это не Камилловы рассуждения, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камилл — знаете его манеру? — и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул.

Все засмеялись.

— Камилл упражняется, — сказал Горбовский. Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логиков и эмоциалистов представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком.

Альпа вздохнул и спрятал трубку. — Проблемы, проблемы... — сказал он. — Противоречия, синтез, тыл, фронт... А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы... Он... Я... Неудачники. Отверженные науки. Наука вон — получает ульмотроны.

Он хотел сказать еще что-то; но тут громкоговоритель заревел снова:

— Внимание, Радуга! Говорит директор. Капитан звездолета "Таризель-второй" Леонид Андреевич Горбовский. План-энергетик планеты товарищ Канэко. Прошу немедленно явиться ко мне.

Из машин сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неопишемое удовольствие. Все они смотрели на лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул: "Это не меня, я штурман!" Альпа закричал и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.

— Мне пора, — сказал он. — Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца

противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна, и у него есть один герой, человек вконец спившийся водкой и несчастный. Я помню наизусть, что он там говорит. — Он откашлялся. — "Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: "Ну что, и теперь жизнь прекрасна?" Я скажу с благодарным восторгом: "Ах, как она прекрасна!" — Горбовский смущенно улыбнулся и зачихнул проигрыватель в карман. — Это было сказано три века назад, когда человечество еще стояло на четвереньках. Давайте не будем жаловаться!.. А кондиционер я вам оставляю — здесь очень жарко.

## Глава 5

Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника-выпускника. Это был Этьен Ламондуа, глава современной нуль-физики, "быстрый физик", как его называли коллеги.

— Можно? — спросил Горбовский.

— А вот и он, — сказал Матвей.

— Вы знакомы? — Ламондуа стремительно соскочил со стола и, подойдя вплотную, крепко пожал Горбовскую руку, глядя на него снизу вверх.

— Рад вас видеть, капитан, — сказал он, мило улыбаясь. — Мы как раз говорили о вас.

Горбовский попятился и сел в кресло. — А мы — о вас, — сказал он. Этьен живо поклонился и вернулся на стол к директору.

— Итак, я продолжаю. "Харибды" стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость: он создал отличные машины. Любопытно, что северная волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать ее. П-волна, каково? По имени Шота. Черт возьми, я вынужден признаться, что рву на себе волосы! Как я раньше не обращал внимание на это великолепное явление? Придется извиниться перед Аристотелем. Он оказался прав.

Он и Камилл. Я преклоняюсь перед Камиллом. Я преклонялся перед ним и раньше, но теперь я кажется понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете что Камилл погиб?

Матвей дернул головой.

— Опять?

— А, вы уже знаете! Странная история. Погиб и снова воскрес. Я слышал о таких вещах. На свете нет ничего нового. Между прочим, вы верите, что Склярлов мог бросить его на съедение волне? Я нет. Итак, северная волна достигла пояса контрольных станций. Первая, лю-волна, рассеяна, вторая, П-волна, теснит "харибд" со скоростью до двадцати километров в час. Так что северные посевы, вероятно, все-таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолетах...

— Знаю, — сказал директор. — Жаловались. — Что поделаешь! Они вели себя хотя и понятным образом, но тем не менее недостойно. На океане движение волны приостановлено. Там наблюдается явление, за которое Лю отдал бы полжизни: деформация кольцевой волны. Эта деформация удовлетворяет каппа-уравнению, а если волна — это каппа-поле, то становится сразу ясно все, над чем бился наш бедный Маляев: и Д-проницаемость, и телегенность фонтанов, и "вторичные призраки"... Черт возьми, за эти три часа мы узнали о волне больше, чем за десять лет! Матвей, учтите: как только все это кончится, нам понадобится у-регистратор, может быть, даже два. Считайте, что я дал заявку. Обычные вычислители не помогут. Только лю-алгоритмы, только лю-логика!

— Хорошо, хорошо, — сказал Матвей. — А что на юге?

— На юге — океан. За юг вы можете быть спокойны. Там волна дошла до Берега Пушкина, сожгла южный архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдет дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику, и о южной волне мы почти ничего не знаем. — Он с досадой щелкнул пальцами. — Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей! Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга — это планета физиков. Это наша лаборатория. Энергостанции погибли, и их не вернешь. Когда закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново, вместе. Нам ведь понадобится много энергии! А что касается рыбных промыслов, черт возьми... Нулевики морально готовы отказаться от ухи из кальмаров! Не сердитесь на нас, Матвей.

— Я не сержусь, — сказал директор с тяжелым вздохом. — Но есть, однако, в вас что-то от ребенка, Этьен. Вы как ребенок, играючи ломаете все, что так дорого взрослым. — Он снова вздохнул. — Постарайтесь сберечь хотя бы южные посевы. Очень мне не хочется терять автономию.

Ламондуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского.

— Как тебе это нравится, Леонид? — спросил он, невесело усмехаясь, — да, дружище. Бедная Постышева! Она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавятся еще хлопоты по восстановлению системы снабжения и ассенизации, у меня волосы встают дыбом. — Он подергал себя за ус. — А с другой стороны, Ламондуа прав — Радуга действительно планета физиков. Но что скажет Канэко, что скажет Джина... — Он помотал головой и передернул плечами. Да! Канэко! А где Канэко?

— Матвей, — сказал Горбовский, а можно мне узнать, зачем ты меня вызывал?

Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами селектора.

— Тебе удобно? — спросил он.

— Да, — сказал Горбовский. — Он уже лежал.

— Может, тебе пить хочется?

— Хочется.

— Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется?

— Еще нет, но скоро захочется.

— Вот тогда и поговорим. А пока не мешай мне работать.

Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лег в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал, прихлебывая из стакана, с полузакрытыми от удовольствия глазами и слушал, как директор разговаривает с Канэко. Канэко сказал, что не может выбраться: его не пускают. Директор спросил: "Кто не пускает?" — "Здесь сорок человек, — ответил Канэко, и каждый не пускает". — "Сейчас я пришлю к тебе Габу", — сказал директор. Канэко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о волне и напомнил извиняющимся тоном, что Канэко, помимо всего прочего, является начальником СИБ Радуги. Канэ-

ко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал.

Начальники службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, а иногда и не совсем еще освоенную планету рано или поздно начинали прибывать аутсайдеры — туристы, отпускники (всей семьей и с детьми), свободные художники, ищущие новых впечатлений, неудачники, ищущие одиночества или работы потруднее, разнообразные дилетанты, спортсмены-охотники и прочий люд, не числившийся ни в каких списках, никому на планете не известный, ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей. Начальник СИБ был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яйлы или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИБ спасли не одну человеческую жизнь. Но на плоской, как доска, Радуге, с ее ровным климатом, убогим животным миром и ласковым, всегда тихим морем СИБ неизбежно должна была превратиться и, судя по всему, превратилась в пустую формальность. И вежливый, корректный Канэко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажем литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не прослеживанием замысловатых маршрутов влюбленных и молодоженов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом.

— Сколько сейчас на Радуге аутсайдеров? Спросил Матвей.

— Человек шестьдесят. Может быть, немного больше.

— Канэко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в столицу.

— Я не совсем понимаю, в чем смысл этого мероприятия, — вежливо сказал Канэко. — В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет, очень жарко...

— Пожалуйста, не будем спорить, Канэко, — попросил Матвей. — Волна есть волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда придет Габа со своими бездельниками, и я пошлю его к тебе. Организуй там.

Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. Камилл погиб, подумал он. А погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуанской капустой.

— Матвей, — позвал он. — А где сейчас Камилл? — Ах да, ты еще не знаешь, — сказал директор. Он подошел к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камилл каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляр — наблюдатель — примчался на Камилловом флаере, закатил истерику и заявил, что Камилл раздавлен, а через десять минут Камилл выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчесствует и снова исчезает. Ну разве можно после таких вот выходов принимать Камилла всерьез?

— Да, Камилл большой оригинал. А кто такой Скляр?

— Наблюдатель у Маляева, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалекий... Предполагать, что он предал Камилла — это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли...

— Не обижай Маляева, — сказал Горбовский. — Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о волне.

— Будем, — рассеянно сказал директор. — Это очень опасно?

— Что?

— Волна. Она опасна?

Матвей засопел.

— В общем-то волна смертельно опасна, — сказал он. — Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться. — Он помолчал. — А может и не рассеяться.

— И укрыться от нее нельзя?

— Не слышал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище.

— Неужели ты не видел?



Усы Матвея грозно встопорщились. — Ты мог бы заметить, — сказал он, — что у меня мало времени мотаться по планете. Я все время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю, или кто-нибудь меня ждет... Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время...

Горбовский осторожно осведомился: — Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?

Директор сердито взглянул на него. — Захотел есть?

— Н-нет.

Матвей прошелся по кабинету. — Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камилл предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагоприятно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камилл был прав...

Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу.

— Я прибыл! — объявил он, взмахнув огромными руками. — Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую из женщин, по имени Джина Пикбридж, но чары ее оказались сильнее, и она осталась в Рыбачьем, откуда и шлет тебе нелестные приветы!

— Я абсолютно ни при чем, — сказал директор. — Пусть шлет свои приветы Ламондуа.

— Воистину, пусть! — воскликнул негр.

— Габа, — сказал директор, — ты знаешь о волне?

— Разве это волна? — презрительно сказал негр. — Вот когда в стартовую камеру войду я, и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая волна! А это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться.

— Ты с бригадой? — спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. — Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канэко.

— На голове и на глазах, — сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма "У стен Иерихонских":

На веселой Радуге, Радуге, Радуге...

Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул: — Ти-хо!  
Песня смолкла.

Тонкий чистый голос жалобно протянул:

Dig my grave both long and narrow,  
Make my coffin neat and strong!..\*

— Я иду, — с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник.

— Дети... — проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. — Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.

Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины.

— Матвей, — сказал Горбовский. — Я тебе правда нужен?

— Да, — сказал директор. — Очень. — Он все смотрел в окно.

— Матвей, — сказал Горбовский. — Расскажи мне, в чем дело.

— Тоска, предчувствия, заботы, — продекламировал Матвей и замолчал.

Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:

— Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.

— Угу. Ты уж посиди, пожалуйста.

Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.

— Ждать. Будем ждать, — громко сказал директор и вернулся в свое кресло.

Горбовский промолчал.

— Да! — сказал он. — Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?

— Спасибо, хорошо.

— Она не вернулась?

— Нет. Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет.

---

\* Выройте мне могилу, длинную и узкую, Гроб мне крепкий сделайте, чистый и уютный... (Народная американская песня)

— Все Алешка?

— Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно.

— А помнишь, как она клялась: "Вот пусть только родится!.."

— Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучалась. Жаловалась. "Нет, — говорит, — у меня материнского чувства. Урод я. Дерево".

А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: "Папа, что это приседает?" Я сначала не понял. Потом... Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. "Приседает". Очень точный образ, правда?

— Правда, — сказал Горбовский. — Писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат.

Матвей махнул рукой. — Не может быть и речи, — сказал он. — Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: "Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?" Это ее смысл жизни. Мне это недоступно, признался он, — но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее. И слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Я понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким.

— Да, — сказал Матвей. — Сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят.

— Не так, — сказал Горбовский. — Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека.

— Ты очень богатый человек, — проговорил Матвей.

— Кстати, — вспомнил Горбовский. — Вышла в Москве книга. "Нет горше твоей радости". Сергея Волковско-го. Очередная бомба эмоциолистов. Генкин разразился желчной статьей. Очень остроумно, но неубедительно: литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциолисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я

этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?

— Это очень просто, — сказал Матвей. — Каждый воображает, что делает историю.

— Но он делает историю! — возразил Горбовский. — Каждый действительно делает историю! Ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием.

— Не хочется мне об этом спорить, — сказал Матвей. — Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь.

— Ну давай не будем спорить, — сказал Горбовский. — Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет.

— Мне сейчас поможет только одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что волна рассеялась.

Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.

— Что-то давно к тебе никто не звонит, — сказал Горбовский. — Даже как-то странно.

— Волна, — сказал Матвей. — Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают.

Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал неприятное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель.

Подойдя к столу, Ламондуа остановился. — Кажется, я огорчу вас, — медленно и ровно сказал он. — "Харибды" не выдержали. — Голова Матвея ушла в плечи. — Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением десять метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. Он повернулся к Горбовскому. — Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъемность?

Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.

— Грузоподъемность? — повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульта, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал: — Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета.

Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо. — Ничего страшного, дружок, — сказал он. — Поместимся. Отдай приказ эвакуировать Детское. Я займусь яслями. — Он оглянулся на Ламондуа. А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен, — сказал он.

Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные — глаза человека, знающего, что он всегда прав.

## Глава 6

Роберт видел, как все это произошло. Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было сорок восемь — тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север.

Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на Земле, когда все затихает и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая волна бросала впереди себя многобальные ураганы и рев бесчисленных молний.

А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в

тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бранит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из столицы. И биологи и туристы были очень недовольны; и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные.

Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно: плечом нигде не стучался. Живот саднит, ну, живот понятно — когда споткнулся об ульмотрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульмотрон. И как выглядит мой птерокар. И как выглядит... Интересно, что здесь будет через три часа. Цветники жалко... Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. Та-ня, — тихонько позвал он. — Как ты там сейчас? — Он прикинул расстояние от фронта волны до Детского. Безопасно, подумал он с удовлетворением. Они там, наверное, и не знают о том, что волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камилл...

Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас в глубь континента; о том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется волна; и как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтетишке, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлорелловым "супам сельским", к котлетам бараньим квазибиотическим и прочим чудесам синтеза, будь они неладны... Он думал о чем попало, но он ничего не мог сделать.

Никуда не уйти от удивленных глаз Пагавы, от ледя-

ного тона Маляева, от преувеличенно-участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать. Что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флаере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флаере. Но он же был раздавлен насмерть, в десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слыхал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось если это случилось, — я тоже никогда не слыхал. Ну и пусть, в отчаянии подумал он. Пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила! А им все равно, они о Камилле забыли сразу. Они будут вспоминать о нем, только когда будут видеть меня. И будут смотреть на меня своими теоретическими глазами, и анализировать, и сопоставлять, и взвешивать. И строить наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают... И я тоже никогда не узнаю правды.

Он вывернул последнюю антенну, уложил ее в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донесся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-черном фоне волны встает длинный белый факел. Горела "харибда". Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший вхолостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало и из-под башни, подминаемая уцелевшие пальмы, поползла резервная "харибда", задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложило уши, и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли.

Дело было довольно обычное: одна из "харибд" не успела отвести в базальт избыток энергии из емкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножья черной стены что-то ярко вспыхнуло, взлетел весь разноцветного пламени, и еще один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку еще несколько

факелов. "Харибды" вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперед, выбрасывая перед собой в степь черные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице.

По коридорам метались люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с пленкой. Гасан Али-Заде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера — их словно ветром несло. Кто-то звал: "Идите сюда! Не могу я один! Гасан!.." В вестибюле зазвенело разбитое стекло. Зафыркали моторы на площади. В диспетчерской, топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: "Почему не слышишь? "Харибды" горят! Горят "харибды", говорю! Волна пошла! Ничего, понимаешь, не слышу!.. Этьен! Если понял, кивни!.."

Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян оберточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев, молча, с каменным лицом, впихивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разеваая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-черную стену волны, бархатным занавесом закрывающую небо.

— Перестаньте же грузить! — закричал у него над ухом Пагава. — Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб! Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон. — Выбрасывайте все! — кричал Пагава, сбегая с крыльца. — Всем в вертолет немедленно! Не видите, да? Я кому говорю, Склиров! Патрик, заснул?!

Роберт не двинулся с места. Патрик тоже. В это время



Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушел за крыши. Из вертолета летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом: "Не дам, Шота Петрович! Это я им не дам!.." — "Дашь, голубчик! — Ревел Пагава. — Еще как дашь!" К Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный, как еж, антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки:

— Куда? — заорал он. — Назад! Назад, Шени Деда! Прекратить панику! Остановить его!

Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет. То есть попросту вываливают из него все, что попадает под руку. Вертолет действительно перегружен — это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкуются. Сначала толклись с криками, теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах — наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и, главное, место!.. Карл Гофман, человек педантичный (то, что называется "вдумчивый и осторожный ученый"), подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно — вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на волну — не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флаер. Интересно, кто его туда отвел и зачем? На флаер никто не обращает внимания, да он не нужен никому: осталось человек десять, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса "гриф", но при таком грузе он пойдет с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку.

— Не успеем, — сказал Маляев. В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошел к Маляеву.

— Есть еще резервная "харибда", — сказал он. Четверть часа вам хватит? Маляев смотрел на него, не понимая. — Есть две резервные "харибды", — холодно сказал он и

вдруг понял. — Ладно, — сказал Роберт. — Не забудьте Патрика. Он с той стороны вертолета. Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглядывался. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму "харибды". Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цветка, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленные солнцем перекладыны. Все так же не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера; и когда все вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая, уже совершенно ни к чему, включила систему кондиционирования. Затем — уже сознательно — он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед через отброшенную заслонку.

Прямо перед ним была волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек, желтыми столбиками ошарашенно замерших перед своими норками.

Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящий вой — заработал поглотитель. "Харибда" плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли здания поселка. Вертолета видно не было. Еще метров сто, нет, еще метров пятьдесят — и довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. А может быть, и не успею,

подумал он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в "харибдах".

Хватит, подумал он, нажимая на тормоз. А то не убежать. Он снова поглядел в зеркало заднего вида. Долго, ох, долго возятся, подумал он. Степь перед "харибдой" медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них шагах в двадцати вдруг упала на спину, судорожно дергая лапками.

— Убегайте, дурачки! — сказал вслух Роберт. — Вам можно...

И тут он увидел вторую "харибду". Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежась от нестерпимого холода.

Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смелчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо... А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье и еще ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец! Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал:

— Эге-ге! Держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим!..

Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всем. Емкости были на исходе: светящаяся стрелка под запыленным стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами поселка висело быстро уменьшающееся темное пятнышко. Еще минут десять, подумал он. Теперь было ясно видно, что фронт волны перед поселком прогнулся. Волна обтекала зону действия "харибд" с востока и с запада.

Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение... Он, востропавшись, принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева — настезь его! Люк справа уже приоткрыт — тоже настезь... Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение... Нет, ее лучше закрыть — взрыв происходит, наверное, именно

там, в емкостях... На засов ее, на засов... Как раз в этот момент соседняя "харибда" взорвалась.

Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча желтой пыли, закрывающая степь, и небо, и волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк.

Он упал ничком в горячую сухую траву, вскочил и, пригибаясь, пустился бегом к поселку. Так он не бежал никогда в жизни. Его "харибда" взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся еще ниже и побежал еще быстрее. Вечная тебе слава, твердил он. Вечная тебе слава!.. Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней "харибды" этот жуткий столб пыли.

Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялась ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и легкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений.

Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флаеру. Двигатель флаера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик.

— Ну, вот и ты, — сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. — Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У нее скорость сейчас — ой-ей-ей!..

Роберт повалился на сиденье рядом с ним. — Погоди, — сказал он, задыхаясь. — Может быть, второй... Тоже спасся? Кто это был? Маляев, Гофман?.. Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флаер для разгона. — Второй — это я, — сказал он застенчиво. — Ты? — Я, — повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырулил флаер на дорожку и, наконец, поднял его. — Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнула, верно? Меня до самого поселка катило...

Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. Ай да Патрик, подумал Роберт с недоумением.

— А моя посильнее грохнула, — заявил Патрик. — Как тебе кажется, Роб, а?..

— Куда ты летишь? — спросил Роберт.

— В Холодные Ручьи, — сказал Патрик. — Новая база будет там.

## Глава 7

Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. Два раза я уже сегодня от нее уходил, подумал он. Не миновать и третьего.

— Что теперь будет? — спросил он.

Патрик выпятил толстые губы.

— Плохо будет. У нее огромный запас инерции.

— Ты пробовал подсчитать?

— Да.

— Ну?

Патрик тяжело вздохнул и ничего не ответил.

Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флаера и настроился на Детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но Детское не отзывалось. Не надо беспокоиться, думал он. Летний праздник и все такое. Как странно, они еще ничего не знают. И пусть ничего не знают. Буду знать только я. Он опять спросил:

— Куда мы летим?

— Ты уже спрашивал.

— Ах, да... Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти Ручьи?

— Конечно. Куда же нам еще?

Роберт откинулся на сиденье.

— Да, — сказал он.

— Зря ты остался.

— В каком смысле "зря"?

— Ты можешь побыстрее?

— Могу...

— А еще быстрее?

Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлебываясь воздухом.

— Мы всегда торопимся, — пробормотал Патрик. — Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, еще быстрее... А нельзя ли еще быстрее? Можно, отвечаем мы. Пожалуйста!.. Нет времени осмотреться. Нет времени подумать. Нет времени разобраться зачем и стоит ли? А потом появляется волна. И мы опять торопимся.

— Подавай больше горячего, — сказал Роберт. Он думал совсем о другом. — И держи правее.

Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно.

— Ты не слыхал что-нибудь о "Стреле"? — спросил Роберт.

— Нет. "Стрела" далеко. Она не успеет. Брось об этом думать, Роб!

— О чем же мне еще думать? — пробормотал Роберт.

— А ни о чем. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. Помоему, я никогда даже не видел эту зеленую волну на хлебах от ветра... Волну! Тьфу! А знаешь, когда я все это впервые увидел? Знаешь? Когда смотрел в степь через железную заслонку на "харибде". Я все смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на волну и ничего не понимали... И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались.

Роберт молчал. Поздно спохватился, думал он. Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно.

Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн — это была одна из многочисленных энергетических станций северного пояса.

— Снижайся, — сказал Роберт. — Куда? — Вон площадь — видишь? — где птерокары. Патрик глянул через борт. — Действительно, — сказал он.

— А зачем?

— Возьмешь себе птерокар, а мне отдашь флаер.

— Что ты задумал? — спросил Патрик.

— Полетишь дальше один. Мне в Ручьи не надо. Снижайся. Патрик послушно пошел на посадку. Флаер он все-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь. — Превосходная организация, — пробормотал он насмешливо. — Мы там давимся, все бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара.

Флаер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык. — Ох! — сказал он. — Ну, вылезай, вылезай. Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья.

— Роб, — сказал он неуверенно, — может быть, это не мое дело, но что же ты все-таки задумал? Роберт проворно передвинулся на его место. — Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром? Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение.

— Роб, — сказал он. — Смотри на вещи трезво.

Над волной плазмовый барьер в сто километров. Тебе не перепрыгнуть. Роберт с изумлением посмотрел на него.

— Он уже давно погиб, — сказал Патрик. — Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла волна.

— О чем ты? — спросил Роберт. — Я не собираюсь прыгать через волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик.

— Прощай, — сказал Патрик. — Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет?

— Справлюсь, — печально сказал Патрик. — Птерокар я знаю хорошо. Эх, Роб!..

Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через пять минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До Детского было два часа лету. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевел его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать Детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить радию, но подумал и переключил приемник на самонастройку.

— ...Девятого класса Асмодей Барро нашел во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит довольно далеко от побережья...

— ...Совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до ульмотронов.

— ...Поставить своими силами не удастся. У нас нет Отеллю. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать, пока...

— ...Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость! Буллит раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. Шесть... Одиннадцать... Одиннадцать, говорю...

— Внимание, Радуга! Начальникам всех поисковых партий. Начать эвакуацию. Обратить особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже "медузы" были доставлены в столицу.

— ...Небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила столицу и никогда не понимала, зачем ее построили на экваторе. Что? Ну конечно, ужасно душно...

— ...Сойер! Сойер! Я Канэко. Немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг. Разыщи третий вертолет. Третий вертолет не прибыл...

— Внимание, испытатели! Сегодня в четырнадцать часов состоится внеплановый нуль-запуск человека к Земле. Просьба прибыть в институт не позже тринадцати часов...

— ...Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?

— Адольф! Адольф! Умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно! Еще есть шанс попасть на звездолет!.. (Голос стал уплывать, но Роберт придержал верньер.) Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что Радуга обречена! Возвращайся немедленно! Я хочу быть с тобой сейчас...

Роберт отпустил верньер.

— ...Как всегда. У Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи. По-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...

— ...Почему же, я все прекрасно понимаю. Но посуди сам, "Таризель-второй" — это десантный звездолет. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не все ли равно, где...

— Следопыты, следопыты! Место сбора — столица. Все в столицу! Забирайте с собой "кроты", будем рыть убежище. Может быть, успеем...

— ..."Таризель", говорите? Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъемность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж... Я предлагаю приблизительно такой список: от дискретников — Пагава, от волновиков — Аристотель, может быть Малаяев, от барьерщиков я бы рекомендовал Форстера... Ну и что же что он старый? Он велик! Вам,



голубчик, сорок лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить лет пять-десять, и то не дают...

— Габа! Габа! Слышал о нуль-запуске? Что? Занят? Вот странный человек... Я лечу в институт. Почему же я с ума сошел? Да знаю я все это, знаю... Именно сейчас! А если вдруг получится? Ну, прощай. Ищи то, что от меня останется, где-нибудь возле Проциона...

— Опять физики что-то взорвали на северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолет, и нас всех приглашают в столицу. Ах, вас тоже? Странно!.. Ну, там увидимся.

Роберт выключил рацию. "Таризель-второй", десантник... Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пестрой желто-зеленой путанице, но Роберт знал, что там, под сенью исполинских деревьев, проходят прямые шоссе и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжелых грузовых вертолетов прошли на юго-запад где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиотелефон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос:

— Алло? — Патрик, это я, Скляр. Патрик, что известно о волне?

— Все то же, Роб. Берег Пушкина затоплен. Аодзора сгорела. Рыбачий горит сейчас. Несколько "харибд" уцелело, их оттаскивают на буксире к столице. А ты где?

— Это неважно, — сказал Роберт. — Сколько от волны до Детского?

— До Детского? Зачем тебе Детское? До Детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в столицу. Мы все там будем через полчаса. — Он вдруг хихикнул. — Маляева пытались всадить в звездолет. Жалко, тебя не было. Он разбил Гасану нос. А Пагава куда-то спрятался.

— А тебя не пытались всадить?

— Ну зачем же ты так, Роб...

— Ладно, извини. Значит, от Детского волна пока далеко?

— Не то чтобы далеко... Час-полтора...

— Спасибо, Патрик. До свидания. Роберт снова попы-

тался связаться с Таней, на этот раз по радиофону. Он ждал пять минут. Таня не отвечала... Детское было пусто.

Над стеклянными спальнями, над садами, над пестрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевика в Гринфилде. Песчаные дорожки были аккуратно подметены, парты в саду стояли, как всегда, ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед Таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большеглазый пушистый ручной калям. Он старательно обнюхивал ее, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством.

Роберт вошел в танину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежала раскрытая тетрадь, через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт потрогал его, оно было еще влажное.

Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочел свое имя, прежде чем это дошло до его сознания. Имя было написано большими печатными буквами.

"Р о б и к! Нас спешно эвакуировали в столицу. Ищи меня в столице. Непременно найди! Нам еще ничего не говорили, но, кажется, надвигается что-то страшное. Ты мне нужен, Робик. Найди меня. Т в о я Т."

Роберт вырвал листок из тетради, сложил вчетверо и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом танину комнату, открыл стенной шкаф, потрогал ее платья, снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа.

От Таниного коттеджа было хорошо видно море спокойное, похожее на застывшее зеленое масло. Десятки тропинок вели через траву к желтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и топчаны. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды. А горизонт на севере горел нестерпимо яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошел к флаеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял: это было не солнце, это был гребень волны.

Он устало опустил на сиденье и тронул флаер. То же самое и на юге, подумал он. Она теснит нас с севера и с юга. Мышеловка. Коридор между двух смертей. Флаер снова понесся над тропическим лесом. Сколько еще осталось, думал он. Два часа, три? Два места в звездолете, десять?

Лес под флаером вдруг кончился, и Роберт увидел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окруженный толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус терпел аварию, и все эти люди рядом с ним — странно, какие они все маленькие! — Ждали, пока пилот исправит повреждение. Он увидел пилота — огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети, и тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали.

Флаер упал в десяти шагах от аэробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню, ее прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки, и удивленно расширившиеся глаза.

— Это я, — сказал Роберт. — Что случилось, Таня? Таня молча смотрела на него, и тогда он поглядел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул: — А, Роберт! Иди-ка сюда, помоги! Таня — чудесная девочка, но она никогда не имела дела с аэробусами! И я тоже! А у него все время глохнет двигатель.

Дети — семилетние мальчики и девочки — рассматривали Роберта с интересом. Роберт подошел к аэробусу и, мимоходом ласково коснувшись щекой Таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине. Они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись — Роберт и десять отчаянно скучающих нуль-испытателей, которые уже два года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Фимкой.

То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да, Габа, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дела с аэробусами. Сделать ничего было нельзя — кончилось горючее. Габа совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями: в аэробусах не часто кончается горючее. Роберт украдкой поглядел на Таню. Она прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала.

— Итак? — бодро спросил Габа. — Правильно мы грешили на вот этот рычаг, не знаю, как он там называется?

— Что ж, — сказал Роберт, — очень возможно. Он взялся за рычаг и подергал его. — Кто-нибудь знает, что вы здесь засели?

— Я сообщал, — ответил Габа. — Но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбриозародышами?

— Ну, ну, — сказал Роберт, бесцельно, но очень аккуратно очищая паз подающего рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно.

— Понадобился транспорт. Канэко стал выращивать "медузы", а оказалось, что это не "медузы", а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? Габа захохотал. — Как тебе это нравится?

— Сплошной смех, — сказал Роберт сквозь зубы. Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белеющую синеву и на севере над верхушками далеких деревьев ослепительно яркий гребень волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал: "Та-ак... Посмотрим!" — И обошел аэробус с другой стороны, где никого не было. Там он сел на корточки, прижавшись лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным громохочущим голосом запел:

One is none, two is some,  
Three is a many, four is a penny,  
Five is a little hundred...\*

Открыв глаза Роберт увидел его пляшущую тень на траве — тень поднятых рук с растопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился и, распахнув дверцу, влез в аэробус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточенно вцепившийся в рукояти управления. Он выделял рукоятями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел.

— Смотри — оторвешь, — сказал Роберт. Мальчик не обратил на него внимания. Роберт хотел включить СОС-маяк, но увидел, что маяк уже включен. Тогда он снова оглядел небо. Через спектролит фонаря небо казалось нежно-голубым, и оно было совершенно пустое. Надо решаться, подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рев ветра.

— Выйди-ка сюда, Роб, — сказал Габа. Он стоял возле двери. Роберт вышел. — Прикрой дверь, — сказал Габа. Было слышно, как Таня рассказывает что-то ребятишкам

---

\* Английская детская считалка

по ту сторону аэробуса и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилота.

— Когда она будет здесь? — спросил Габа.

— Через полчаса.

— Что случилось с двигателем?

— Нет горючего.

Лицо Габы сделалось серым.

— Почему? — бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. — А в твоём флаере?

— Такому сундуку этого не хватит и на пять минут. Габа ударил себя кулаками по лбу и сел на траву.

— Ты механик, — сказал он хрипло. — Придумай что-нибудь.

Роберт прислонился к аэробусу.

— Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжина ребятишек, женщина и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете. Женщина, которую я спасу во что бы то ни стало. Так вот. Флаер двухместный... Габа покивал.

— Понимаю. Тут и говорить не о чем, конечно. Пусть Таня садится во флаер и берет с собой столько ребятишек, сколько туда влезет...

— Нет, — сказал Роберт.

— Почему нет? Через два часа они будут в столице.

— Нет, — повторил Роберт. — Это не спасет ее. Волна будет в столице через три часа. Там ждет звездолет. Таня должна улечь на нем. Не спорь со мной! — яростно прошептал он. — Возможны только два варианта: либо лечу я с Таней, либо с Таней летишь ты, но тогда ты поклянешься мне всем святым, что Таня улечит в этом звездолете! Выбирай.

— Ты сошел с ума! — сказал Габа. Он медленно поднимался с травы. — Это дети! Опомнись!..

— А те, кто останется здесь, они не дети? Кто выберет троих, которые полетят в столицу и на Землю? Ты? Или выбирай!

Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна уже хорошо. Сияющая полоса поднималась все выше, таща за собой тяжелый черный занавес.

— Ну? — сказал Роберт. — Ты клянешься? Габа медленно покачал головой. — Тогда прощай, — сказал Роберт. Он сделал шаг вперед, но Габа преградил ему дорогу.

— Дети! — сказал он почти беззвучно.

Роберт обеими руками схватил его за отвороты куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу. — Таня! — сказал он. Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза.

— Она возненавидит тебя, — тихо сказал Габа. Роберт отпустил его и засмеялся.

— Через три часа я тоже умру, — сказал он. Мне будет все равно. Прощай, Габа. Они разошлись.

— Она не полетит с тобой, — сказал Габа вдогонку. Роберт не ответил. Я это и сам знаю, подумал он. Он обошел автобус и длинными прыжками побежал к флаеру. Он видел лицо Тани, обращенное к нему, и смеющиеся лица детишек, окружающих Таню, и он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, судорожно свернутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флаеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул:

— Танюшка, иди-ка помоги мне! И в это же мгновение с другой стороны автобуса появился Габа. Он скакал на четвереньках. — А ну, что вы здесь скучаете? — заорал он. Кто поймает Шер-хана — великого тигра джунглей?! Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него, потом кто-то весело взвизгнул, кто-то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, который уже выглядывал с рычанием из-за деревьев.

Таня, оглядываясь и удивленно улыбаясь, подошла к Роберту. — Как странно, — сказала она. — Словно и нет никакой катастрофы. Роберт все глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и визг, хруст кустарников и грозный рык Шер-хана явственно доносились из чащи.

— Как ты странно улыбаешься, Робик, — сказала Таня.

— Чудак этот Габа! — сказал Роберт и сейчас же пожалел: надо было молчать. Голос не слушался его.

— Что случилось, Роб? — сразу спросила Таня. Он невольно посмотрел поверх ее головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела и испуганно прижалась к нему.

— Что это? — спросила она. Волна уже доходила до солнца.

— Надо спешить, — сказал Роберт. — Полезай в кабину и подними сиденье. Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за нею,

обхватив ее плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться, и с места рванул флаер в небо.

— Роби! — прошептала Таня. — Что ты делаешь, Роби?! Он не смотрел на нее. Он выжимал из флаера все, что можно. И только краем глаза он увидел внизу поляну, одинокий аэробус и маленькое лицо, с любопытством выглядывающее из водительской кабины.

## Глава 8

Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси, на улицах, прилегающих к площади перед зданием совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планеты.

С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных "кротов" с опознавательными знаками следопытов и с желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посередине площади и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека — по три минуты вполголоса каждый, — принялись рыть глубокую шахту-убежище. "Кроты" оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельченного грунта, и над площадью возник и повис душный кисловатый запах денатурированного базальта.

Физики-нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания совета. Весь день они отступали, цепляясь аварийными отрядами "харибд" за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламондуа и директора не созвал их в столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато-вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты.

Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи

для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников, с тем чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров — тех, кто инстинктивно чувствовал себя не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации.

Но на площади, забитой "гепардами", "медузами", "биндюгами", "дилижансами", "кротами", "грифами", осталось еще очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры — художники и артисты — ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявлять претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий.

Планета опустела. Все население — каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых ее отдаленных и глухих уголков и доставлен в столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек остались там, заявив, что им все равно, да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем и тяжелый "гриф", высланный на его поиски.

Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал совет Радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Канэко вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флаеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное: угроза катастрофы является совершенно реальной; в распоряжении совета имеется всего один десантный звездолет малой грузоподъемности; Детское эвакуировано, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей; лайнер-звездолет "Стрела" непре-



рывно поддерживает связь с Радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее чем через десять часов. Трижды в час дежурный совета информировал площадь о положении фронтов волны. Репродуктор гремел: "Внимание, Радуга! Передаем информацию..." И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот "кротов". Волна двигалась странно. Ее ускорение то увеличивалось — и тогда люди мрачнели и опускали глаза, — то уменьшалось — и тогда лица светлели и появлялись неуверенные улыбки, — но волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные поселки.

Официальной информации было очень мало — может быть, потому, что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи.

Следопыты и строители все глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали, весело скаля зубы, что им нужно еще каких-нибудь два-три часа — и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчете, якобы произведенном Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчету северная и южная волна, столкнувшись на экваторе, должны "взаимно энергетически свернуться и деритринитировать", поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на Радуге должен выпасть слой снега толщиной в полтора метра.

Говорили также, что полчаса тому назад в институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к солнечной системе, и даже называли имя пилота, первого в мире нуль-перелетчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне.

Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что п-волна в отличие от волн ранее известных типов не представляет реальной опасности для жизни.

Называли даже имена счастливых, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камилл выскочил из волны на горящем птерокаре и пронесся мимо чудовищной кометой, что-то крича и размахивая рукой.

Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее: "Командира "Стрелы" я знаю сто лет. Если он говорит, что будет не раньше через десять часов, то это значит, что он будет не позже чем через три часа. И не надо кивать на совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках".

Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать вам только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через двадцать минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерной.

Люди на площади видели, как в здание совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет пяти в красных штанишках. Многие узнали ее — это была Женя Вязаницына, жена директора Радуги. Она вышла очень скоро в сопровождении Канэко, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник.

Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспоров до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки. А несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью.

Оставшиеся видели, как перед подъездом совета опустился опаленный, весь в пятнах и вмятинах флаер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся

ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя-нулевого Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через волну, подошли к ней на расстояние двадцати километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто-то рассказал, что двое следопытов пытались поднырнуть под волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно.

К этому времени на площади осталось человек двести — меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон совета. На площади становилось тихо: "кроты" ушли глубоко, и рев их был едва слышен. Разговоры велись невеселые.

— Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго. — Убежище, подземелье... Подполье... Снова наступает черная стена, и люди уходят в подполье. — Жаль, что нет никакого настроения писать.

Вы посмотрите, как красиво здание совета. Какая цветочная глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал... И передал бы это настроение напряженности и ожидания, но... Не могу. Тошно.

— Странно все-таки. Кажется, мы выбирали не тайный совет. Типично жреческие замашки. Запереться в кабинете и обсуждать там судьбы планеты... Мне в конце концов не так уж и важно, о чем они там говорят, но это же неприлично...

— Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь, вот уже два часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только все время точит ножичек... Пойду с ним поговорю. Пойдемте со мной, хотите?

— Аодзора сгорела... Моя Аодзора. Я ее строил. Теперь опять строить. А потом они ее опять сожгут.

— Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоем, и, честное слово, ничего я не боюсь! А Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть с женой. Нелепо все это. Зачем?

— Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю: единственная возможность — это звездолет. А все остальное — это пшик, барахтанье, самодеятельность.

— Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на Земле? Радуга, Радуга, как ты нас обидела...

В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел: — Внимание, Радуга! Говорит совет! Созывается общее собрание населения планеты! Собрание состоится на площади совета и начнется через пятнадцать минут. Повторяю...

Пробираясь через толпу к зданию совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами, с ним здоровались, его спрашивали: "Ну как там, Леонид Андреевич?" И за его спиной вполголоса произносили его фамилию, названия звезд и планет, с которыми он имел дело, а также названия кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал: "Да пока все в порядке", — и думал: "Пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются звездоплаванием". Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем-то похоже на последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит свое решение. Верю в вас, настойчиво думал он. Верю, верю во что бы то ни стало. Верю в вас, испуганные, настороженные, разочарованные, фанатики. Люди.

У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ.

— Леонид Андреевич, — сказал он, озабоченно улыбаясь. — Минуточку. Буквально, одну одну минуточку.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Горбовский. Человек торопливо рылся в карманах. — Когда придете на Землю, — говорил он, не откажите в любезности... Куда же оно запропастилось?.. Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. Ага, вот оно... — Он вынул сложенный

двое конверт. — Адрес тут есть, печатными буквами... Не откажитесь переслать.

Горбовский покивал. — Я даже по-письменному могу, — сказал он ласково и взял конверт.

— Почерк отвратительный. Сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке... — Он помолчал, затем протянул руку. — Счастливого пути! Заранее спасибо вам.

— Как ваша шахта? — спросил Горбовский.

— Отлично, — ответил человек. — Не беспокойтесь за нас. Горбовский вошел в здание совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной, растерянной улыбкой и сейчас же отвел глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шел директор, багровый и свирепый. Он буркнул: "Ты готов?" — И, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли остальные члены совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой и в их оживлении отчетливо чувствовалось фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним — на некотором расстоянии от всех — спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерна загорелый и пышноволосяй, как двадцать пять лет назад, когда он командовал "Подсолнечником" и вместе с Горбовским штурмовал Слепое Пятно.

— Ба! — сказал Горбовский. — О! — сказал Станислав Пишта. — Ты что здесь делаешь?

— Ругаюсь с физиками.

— Молодец, — сказал Горбовский. — Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией?

— Я, — ответил Пишта.

Горбовский недоверчиво посмотрел на него. — Я, я! — Пишта усмехнулся. — Не похоже? Сейчас ты убедишься. На площади. Когда начнется свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедagogичное зрелище.

Они стали медленно спускаться к выходу.

— Свара пусть, — сказал Горбовский. — Это тебя не касается. Где дети?

— В парке.

— Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно — слышишь? — Немедленно начинай погрузку детей на "Таризель". Там тебя ждут Марк и Перси. Если мы уже погрузили. Ступай быстро.

— Ты молодец, — сказал Пишта.

— А как же, — сказал Горбовский. — А теперь беги. Пишта хлопнул его по плечу и впереvalку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон:

— ...И фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта.

— Он ушел, — сказал Горбовский. Директор оглянулся.

— Как ушел? — спросил он шепотом. — Куда? На площади было очень тихо.

— Тогда разрешите мне, — сказал Ламондуа. Он взялся за мегафон. Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу.

— Мы все знаем, что такое Радуга, — начал Ламондуа. — Радуга — это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результаты этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живет здесь, знает, куда он приехал и где он живет. — Ламондуа говорил резко и уверенно, он был очень хорош сейчас — бледный, прямой, напряженный как струна. — Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати миллиардам землян, разбросанным по вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны. И слишком часто разуму и логике мешает в этих разговорах наше чисто эмоциональное "хочу" и "не хочу", "нравится" и "не нравится". Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций. И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас — борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему,

даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей. — Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. — Самое ценное на Радуге — это наш труд. Мы тридцать лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль-физиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения, настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на Радуге, существуют люди — носители нового понимания пространства и что только на Радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, неспособны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесет человечеству наша новая теория. Не на тридцать лет — на сто, двести... Триста лет будет отброшена наука.

Ламондуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мертвая тишина стояла над городом.

— Очень хочется жить, — сказал вдруг Ламондуа. — И дети... У меня их двое, мальчик и девочка; они там, в парке... Не знаю. Решайте.

Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и жалкий.

Толпа молчала. Молчали нуль-физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое тридцатилетний труд, и слишком хорошо знавшие, что никакой шедевр неповторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, тридцать лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков. Молчали члены совета — люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти.

Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламондуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить: молодому — потому что он так мало прожил, старому — потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться: усилие воли — и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого,

тот больше ни о чем не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельный ужас. А остальные... Очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то чтобы жалко — здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чем-нибудь другом. И надо решать. Ох, до чего же это трудно — решать! Надо выбрать и сказать вслух, громко, что ты выбрал. И тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик "Дурак! Подлец!", Обращенный к самому себе. Милосердие, подумал Горбовский.

Он подошел к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил.

— Видите ли, — проникновенно сказал Горбовский в мегафон, — боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но понимаете ли, решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли и матери с новорожденными уже на звездолете. (Толпа шумно вздохнула.) Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то товарищ Ламондуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный. Правда, простите, на борт звездолета подниматься не надо.

— Вот и все, — громко сказал кто-то в толпе. — И правильно. Шахтеры, за мной!

Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров. — Из чего надо исходить? — сказал Горбовский. Самое ценное, что у нас есть, — это будущее...

— У нас его нет, — сказал в толпе суровый голос.

— Наоборот, есть! Наше будущее — это дети. Не правда ли, очень свежая мысль! И вообще нужно быть справедливыми. Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит! Я уж не говорю о нуль-проблемах. (В толпе заплодировали.) А теперь я пошел.



Горбовский сунул мегафон одному из членов совета и подошел к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом:

— Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение....

## Г л а в а 9

"Таризель-второй", десантный сигма-д-звездолет, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надежен и на девяносто пять процентов состоял из энергетических емкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из пяти крошечных кают, крошечной кают-кампании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек — довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишенное принудительного кондиционирования, пригодное (в самом крайнем случае) для устройства походной лаборатории. Нормально "Таризель-второй" принимал на борт до десяти человек, считая с экипажем.

Детей грузили через оба люка: младших — через пассажирский, старших — через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульмотронами и с оборудованием для следопытов Лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум: писк, смех, тонкоголосое нестройное пение — тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было, только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да

и она была совсем другая — поникшая и грустная, одетая очень изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала.

Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолету. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: "А я Марка жду". "Да-да, он скоро выйдет", — ласково сказал Горбовский и пошел дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто.

Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу.

— Товарищ Горбовский, — сказал он. — Я вас прошу, возьмите. — Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток.

— Что это? — спросил Горбовский.

— Моя последняя картина. Я Иоганн Сурд.

— Иоганн Сурд, — повторил Горбовский. — Я не знал, что вы здесь.

— Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это "Ветер"...

У Горбовского все сжалось внутри.

— Давайте, — сказал он и бережно принял сверток. Сурд поклонился.

— Спасибо, Горбовский, — сказал он и исчез в толпе. Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У нее дрожали губы и лицо было мокрое от слез.

— Вы капитан? — спросила она надорванным голосом.

— Да, да. Я капитан.

Она еще сильнее стиснула его руку.

— Там мой мальчик... На корабле... — Губы начали кривиться. — Я боюсь...

Горбовский сделал удивленное лицо.

— Но чего же? Там он в полной безопасности.

— Вы уверены? Вы обещаете мне?..

— Он там в полной безопасности, — повторил Горбовский решительно. — Это очень хороший корабль. — Столько детей, — сказала она, всхлипывая. Столько детей!.. Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошел дальше, загоразивая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.

— Это весит всего три кило, — сказал бледный угловатый мужчина. — Я никогда никого ни о чем не просил...

— Вижу, — согласился Горбовский. Это действительно было заметно.

— Здесь отчет о наблюдениях волны за десять лет. Шесть миллионов фотокопий. — Это очень важно! — подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые, добрые губы, небритые щеки и маленькие умоляющие глазки. — Понимаете, это Маляев... — Он указал пальцем на первого. — Вы непременно должны взять эту папку...

— Помолчите, Патрик, — сказал Маляев. Леонид Андреевич, поймите... Чтобы это больше не повторилось... Чтобы больше никогда, — он задохнулся, — чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор...

— Несите за мной, — сказал Горбовский. — У меня заняты руки. Они отпустили его, и он сделал шаг вперед, но ударился коленом о большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.

— Может, возьмете? — пропыхтел один. — Если можно... — сказал другой. — Мы два года ее строили... — Пожалуйста. Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить. — Леонид Андреевич, — жалобно сказал первый. — Мы вас умоляем. Горбовский снова покачал головой. — Не унижайся, — сказал второй сердито. Он вдруг отпустил свой угол, и закутанный предмет с треском ударился о землю. — Ну что ты держишь?

Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь.

— Володька! — крикнул первый с тревогой ему вслед. — Не сходи с ума!

Горбовский отвернулся. — Скульпторам, конечно, надеяться не на что, сказал над его ухом вкрадчивый голос. Горбовский только помотал головой: говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев. Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом. — Может быть, имеет смысл сделать так... Нервно и отрывисто заговорил один из них. — Может быть, все... Сложить все у грузового люка... Мы понимаем, что шансов мало... Но вдруг все-таки останутся

места... В конце концов это не люди, это вещи... Рассовать их где-нибудь... Как-нибудь...

— Да... Да... — сказал Горбовский. — Я вас прошу, займитесь этим. — Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. — Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в десяти и в стороне. Хорошо?

В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками начали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона.

Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взрывал морским голосом: "По бим-бом-брамселям! По местам стоять, с якоря сниматься!" Это было очень весело, и восторженные малышки не спускали с него замороженных глаз. Тут же были двое воспитателей: мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое.

Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет Радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: "Толик мой! Толик..." И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева, и напряженные лица отцов, и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике

женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрел прочь, натываясь на встречающих, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками.

Горбовский увидел Женю Вязаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона.

— Здравствуй, Леонид, — сказала она.

— Здравствуй, Женечка, — сказал Горбовский.

Малаяев и Патрик отошли в сторону.

— Какой ты худой, — сказала она. — Все такой же худой. И даже еще больше высох.

— А ты похорошела.

— Я не очень отрываю тебя?

— Да нет, все идет, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас все-таки не хватит места.

— Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят... Иногда мне кажется, что ему абсолютно все равно.

— Ему очень не все равно, — сказал Горбовский. — Я разговаривал с ним. Я знаю: ему очень не все равно... Но он ничего не может сделать. Все дети на Радуге — это его дети. Он не может иначе.

Она слабо махнула свободной рукой. — Я не знаю, что делать с Алешкой, — сказала она. — Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был. — Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся: ему будет хорошо. — Я даже не знаю; к кому обратиться. — Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо. — Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках. — И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребенок не останется на Радуге. Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?

— Да, — сказала она. — Нет... Подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?

Горбовский печально покачал головой.

— Женечка, — мягко сказал он.

— Не надо. Не надо беспокоить детей.

— Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет... Кто будет рядом... — Такие же ребяташки. Веселые и добрые. — Можно я поднимусь с ним?

— Не надо, Женечка.

— Надо. Очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Все вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать все, что нужно. Любую работу. Я ведь все умею. Не будь таким бесчувственным...

— Женечка, посмотри вокруг. Это матери.

— Он не такой, как все. Он слабый. Капризный. Он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня. Не сможет! Ведь я-то знаю это лучше всех! Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться?

— Неужели ты займешь место ребенка, который должен будет остаться здесь?

— Никто не останется, — сказала она страстно. Я уверена, что никто! Все поместятся! А мне ведь совсем не надо места! Есть же у вас какие-нибудь машинные помещения, какие-нибудь камеры... Я должна быть с ним!

— Я ничего не могу сделать для тебя. Прости.

— Можешь! Ты капитан. Ты все можешь. Ты же всегда был добрым человеком, Ленья!

— Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый.

— Я не отойду от тебя, — сказала она и замолчала.

— Хорошо, — сказал Горбовский. — Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабль Алешку, осмотрю помещения и вернусь к тебе. Хорошо?

Она пристально глядела ему в глаза.

— Ты не обманешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда никого не обманывал.

— Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай мальчика. Не отрывая глаз от его лица, она как во сне подтолкнула к нему Алешку.

— Иди, иди, Алик, — сказала она. — Иди с дядей Леней.

— Куда? — спросил мальчик.

— В корабль, — сказал Горбовский, беря его за руку.

— Куда же еще? Вот в этот корабль. Вон к тому дяде. Хочешь?

— Хочу к тому дяде, — заявил мальчик. На мать он

больше не смотрел. Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребятишки. Горбовский сказал воспитателю: — Внесите в список. Алексей Матвеевич Вязаницын. Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку.

— Это называется тамбур, — сказал он.

Мальчик подергал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать. Горбовский снял с плеча и поставил в угол картину Сурда. Что еще? — Подумал он. — Да! Он вернулся к люку и, высунувшись, принял от Маляева папку.

— Спасибо, — сказал Маляев, улыбаясь.

— Не забыли... Спокойной плазмы.

Патрик тоже улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону.

— Жарко? — спросил он.

— Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых дети.

— Освободите душевые, — сказал Горбовский.

— Легко сказать, — Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. — Борода лезет под воротник, — пробормотал он. Колется невыносимо. Все тело зудит.

— Дядя, — сказал мальчик Алеша. — А у тебя борода настоящая?

— Можешь подергать, — сказал Перси со вздохом и нагнулся. Мальчик подергал.

— Все равно ненастоящая, — заявил он.

Горбовский взял его за плечо, но Алеша вывернулся.

— Не хочу с тобой, — сказал он. — Хочу с капитаном.

— Вот и хорошо, — сказал Горбовский. — Перси, отведите его к воспитателю. Он шагнул к двери в коридор.

— Не упадите в обморок, — сказал Диксон вслед.

Горбовский откатил дверь. Да, такого в корабле еще не бывало. Визг, смех, свист, щебет, воркование, воинственные клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл, мяукающие вопли младенцев... Неповторимые запахи молока, меда, лекарств, разгоряченных детских тел, мыла — несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов... Горбовский пошел по коридору, выбирая место, куда ступить, опасно

заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, плясали, баюкали кукол, целились из ружей, набрасывали лассо, толклись в невообразимой тесноте, сидели и ползали на откинутых койках, на столах, под столами, под койками четыре десятка мальчиков и девочек в возрасте от двух до шести лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компании, из которой была выброшена почти вся мебель, молодые матери кормили и пеленали новорожденных, и тут же были ясли — пятеро ползунков, переговариваясь на птичьем языке, бродили на четвереньках в отгороженном углу. Горбовский представил себе все это в состоянии невесомости, зажмурился и прошел в рубку.

Горбовский не узнал рубки. Здесь было пусто. Исчез громадный контроль-комбайн, занимавший треть помещения. Исчез пульт управления, исчезло кресло пилота-дублера. Исчез пульт обзорного экрана. Исчезло кресло перед вычислителем. А сам вычислитель, наполовину разобранный, блестел обнажившимися блок-схемами. Корабль перестал быть звездолетом. Он превратился в самоходную межпланетную баржу, сохранившую хороший ход, но годную только для перелетов по инерциальным траекториям.

Горбовский сунул руки в карманы. Диксон сопел у него над ухом. — Так-так, — сказал Горбовский. — А где Валькенштейн?

— Здесь.

Валькенштейн высунулся из недр вычислителя. Он был мрачен и очень решителен.

— Молодец, Марк, — сказал Горбовский.

— И вы молодец, Перси. Спасибо! — Вас уже три раза спрашивал Пишта, — сказал Марк и снова скрылся в вычислителе. — Он у грузового люка. Горбовский пересек рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко. Здесь в длинном и узком помещении, слабо освещенном двумя газосветными лампами, стояли, плотно прижавшись друг к другу, мальчики и девочки школьники — от первоклассников до старших классов. Они стояли молча, почти не шевелясь, только переступая с ноги на ногу, и смотрели в распахнутый люк, где виднелось голубое небо да плоская белая крыша далекого пакгауза. Несколько секунд Горбовский, покусывая губу, смотрел на детей.

— Первоклассников перевести в коридор, — сказал он. — Второй и третий классы — в рубку. Сейчас же.



— И это еще не все, — тихо сказал Диксон. — Десять человек застряли где-то на пути из Детского... Впрочем, кажется, они погибли. Группа старшеклассников отказывается грузиться. И есть еще группа детей аутсайдеров, которые только сейчас прибыли. Впрочем, сами увидите.

— Вы все-таки сделайте, как я сказал, — предложил Горбовский. — Первые три класса — в коридор и в рубку. А сюда — свет, экран, показывайте фильмы. Исторические фильмы. Пусть смотрят, как бывало раньше. Действуйте, Перси. И еще — составьте из ребят цепочку до Валькенштейна, пусть по конвейеру передают детали, это их немного займет.

Он с трудом протиснулся к люку и сбежал вниз. У подножья трапа, окруженная воспитателями, стояла большая группа ребятишек разного возраста. Слева беспорядочной грудой было свалено все самое драгоценное из предметов материальной культуры Радуги: связки документов, папки, машины и модели машин, закутанные в материю скульптуры, свертки холстов. А справа, шагах в двадцати, стояли угрюмые юноши и девушки пятнадцати-шестнадцати лет, и перед ними, заложив руки за спину, нагнув голову, расхаживал очень серьезный Станислав Пишта. Негромко, но внятно он говорил:

— ...Считайте, что это экзамен. Поменьше думайте о себе и побольше о других. Ну и что же, что вам стыдно? Возьмите себя в руки, пересильте это чувство.

Старшеклассники упрямо молчали. И подавленно молчали взрослые, сгрудившиеся перед грузовым люком. Некоторые ребята украдкой оглядывались, и было видно, что они не прочь удрать, но бежать было невозможно — вокруг стояли их отцы и матери. Горбовский посмотрел на люк. Даже отсюда было видно, что корабль набит битком. В широком, как ворота, люке тесной шеренгой стояли дети. Лица у них были недетские — слишком серьезные и слишком печальные.

К Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику.

— Одно слово, капитан, — проговорил он дрожащим голосом. — Одно только слово...

— Минутку, — сказал Горбовский. Он подошел к Пиште и обнял его за плечи. — Места хватит всем, — говорил Пишта. — Пусть это вас не беспокоит... — Ста-

нислав, — сказал Горбовский, — распорядись грузить оставшихся. — Там нет мест, — очень непоследовательно возразил Пишта. — Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную Д-камеру. — На "Тариэле" нет резервных Д-камер. Но место сейчас будет. Распоряжайся. Горбовский остался лицом к лицу со старшеклассниками.

— Мы не хотим лететь, — сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелеными глазами. — Лететь должны воспитатели.

— Правильно! — сказала маленькая девушка в спортивных брюках. Позади голос Перси Диксона крикнул:

— Бросайте! Прямо на землю! Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал.

— Вот что, мальчики и девочки, — сказал Горбовский. — Во-первых, у вас еще нет права голоса, потому что вы еще не кончили школу. И во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы еще молоды и рветесь на геройские подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас требуется подвиг.

— Простите, капитан, — насмешливо сказал зеленоглазый, — но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы.

— Простите, юноша, — сказал Горбовский, — я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное — напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки, перед вами жизнь, какой она бывает иногда, к счастью, редко. А теперь простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно: в корабль вы войдете последними. Все!

Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами.

— Ох, простите, — сказал Горбовский. — Совсем забыл про вас.

— Вы сказали, полетят два воспитателя, — осипшим голосом сказал молодой человек. — Кто?

— Кто вы такой? — спросил Горбовский.

— Я Роберт Скларов. Я физик-нулевик. Но речь не обо

мне. Я вам сейчас все расскажу. Но сначала скажите, кто из воспитателей летит?

— Скляр... Скляр... Удивительно знакомое имя. Где я о нем слышал?

— Камилл, — сказал Скляр, принужденно улыбаясь.

— А, — сказал Горбовский. — Так вас интересует, кто летит? — Он оглядел Склярова. — Хорошо, я вам скажу. Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они еще этого не знают.

— Нет, — сказал Скляр, хватая Горбовского за руки. — Еще один... Еще одну. Турчина Татьяна. Она воспитатель. Ее очень любят. Она опытейший воспитатель...

Горбовский освободил руки. — Нельзя, — сказал он. — Нельзя, милый Роберт! Летят только дети и матери с новорожденными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами.

— Она тоже! — сейчас же сказал Скляр. — Она тоже мать! У нее будет ребенок... Мой ребенок! Спросите у нее... Она тоже мать!

Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляр испуганно пятится, отступая, а на него молча идет маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу.

Теперь здесь оставались только старшеклассники и воспитатели. Остальные взрослые — отцы и матери, и те, кто принес сюда свои творения, и те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде тянулся к звездолету, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал:

— Потеснитесь чуть-чуть, ребята! Майкл, крикни в рубку, чтобы потеснились! Еще немного!

Ему отвечали серьезные детские голоса:

— Некуда больше! Все очень плотно стоят!

И густой голос Перси Диксона прогудел:

— Как так некуда? А вот сюда за пульт? Не бойся, маленькая, током не ударит, проходи, проходи... И ты тоже... И ты, курносый... Больше жизни! И ты... Так... Так...

И холодный, звякающий, как железо, голос Валькенштейна приговаривал:

— Потеснитесь, ребята... Дайте пройти... Подвинься, девочка... Пропусти, мальчик...

Пишта посторонился, и рядом с ним появился Валькенштейн с курткой через плечо.

— Я остаюсь на Радуге, — сказал он. — Вы уж без меня, Леонид Андреевич. — Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого-то. Горбовский кивнул. — Врач на борту? — спросил он.

— Да, — ответил Марк. — Из взрослых там только врач и Диксон.

Из люка вдруг раздался смех.

— Эх вы! — с натугой говорил голос Диксона. — Вот как надо... Раз-два... Раз-два... В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты, перевернутое лицо его было потным и ярко-малиновым. — Держите меня, Леонид, — прошипел он. Я сейчас свалюсь. Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно: толстый бортинженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжел и горяч; и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша:

— Стар. Стар уже... Виновато моргая, он поглядел на Горбовского. — Не могу я там, Леонид. Тесно, душно, жарко... Костюм этот несчастный... Я остаюсь здесь, а вы уж с Марком летите. Да и надоели вы мне, по правде сказать.

— Прощайте, Перси, — сказал Горбовский.

— Прощай, дружок, — сказал Диксон растроганно. Горбовский засмеялся и похлопал его по позументам. — Ну что ж, Станислав, — сказал он. — Придется тебе обойтись без бортинженера. Думаю, обойдешься. Твоя задача: выйти на орбиту экваториального спутника и ждать "Стрелу". Остальное сделает командир "Стрелы".

Несколько секунд Пишта ошарашенно молчал. Потом он понял. — Ты что это, а? — очень тихо сказал он, шаря взглядом по лицу Горбовского. — Ты что это? Ты десантник! Что это за жесты?

— Жесты? — сказал Горбовский. — Я не умею. А ты иди. Ты за всех них отвечаешь до конца. — Он повернулся к старшеклассникам: — Марш на борт! — крикнул он. — Иди вперед, а то не протиснешься, — сказал он Пиште.

Пишта посмотрел на понурых старшеклассников, медленно бредущих к трапу, посмотрел на люк, из которого высывались лица детей, неловко клюнул Горбовского в

щеку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшеклассники один за другим с нарочитой важностью и неторопливостью начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая: "А ну, шевелись! Подбери губы, наступай! Кто это там ревет? Головы выше!" Последней вошла та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но он сделал каменное лицо.

— Некуда ведь, — сказала она тихонько. — Видите? Я не помещаюсь.

— Ты похудеешь, — пообещал Горбовский и, взяв ее за плечи, осторожно втиснул в толпу. Потом он спросил Диксона: — А где кино?

— Все рассчитано, — важно ответил Перси. — Кино начнется в момент старта. Дети любят сюрпризы.

— Пишта! — крикнул Горбовский. — Готов?

— Готов! — гулко откликнулся Пишта.

— Стартуй, Пишта! Спокойной плазмы! Закрывай люки! Мальчики и девочки, спокойной плазмы!

Тяжелая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махая рукой, отступил от комингса. Вдруг он вспомнил.

— Ай! — закричал он. — А письмо? В нагрудном кармане письма не было, в боковом тоже. Люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдернул руку. Люк закрылся. Горбовский, сам не зная зачем, погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком оттащили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу, зато над кораблем в небе кружились десятки вертолетов и флаеров.

Горбовский обогнул груды материальных ценностей, споткнулся о какой-то буст и пошел вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женья Вязаницына. Хоть бы Матвей прилетел, с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шел ему навстречу. Но он был один.

— А где Женья? — спросил Горбовский. Матвей остановился и оглянулся по сторонам. Жени нигде не было. — Она была здесь, — сказал он. — Я говорил с ней по радиофону. Что, люки уже закрыли? — Он все оглядывал-

ся. — Да, сейчас старт, — сказал Горбовский. Он тоже озирался. Может быть, она на вертолете, подумал он. Но он знал, что это невозможно.

— Странно, что нет Жеи, — проговорил Матвей.

— Возможно, она на вертолете, — сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. Ай да она, подумал он.

— Алешку так и не увидел, — сказал Матвей. Станный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронесся над космодромом. Огромная голубая громада корабля бесшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. Первый раз в жизни вижу старт своего корабля, подумал Горбовский. Матвей все провожал корабль глазами — и вдруг как ужаленный повернулся к Горбовскому и с изумлением уставился на него.

— Постой... — пробормотал он. — Как же это так?.. Почему ты здесь? А как же корабль?

— Там Пишта, — сказал Горбовский. Глаза Матвея остановились. — Вот она, — прошептал он. Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.

## Глава 10

На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него.

— Я пойду пешком, — сказал Горбовский. Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Але Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко, по-детски, держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка.

— Пойдемте с нами, Перси, — сказал Горбовский. — Будем собирать цветочки, и уже не жарко. И это очень полезно для вашего сердца.

Диксон покачал косматой головой. — Нет, Леонид, — сказал он. — Давайте лучше попрощаемся. Я поеду. Солнце висело над самым горизонтом. Было прохладно. Солнце светило словно в коридор с черными стенами: обе волны — северная и южная — уже высоко поднялись над горизонтом.

— Вот по этому коридору, — сказал Диксон. Куда глаза глядят. Прощайте, Леонид, прощай, Марк. И ты, девочка,

прощай. Идите... Но сначала я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто.

— Да, это просто, — сказал Марк. — Прощайте, Перси. Пошли, малыш.

Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед. — Немножко поздно, — сказал Диксон. — Да, — согласился Горбовский. — И все-таки я завидую. — Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне... Да и о вас тоже, Леонид, никто.

— Хотите, я буду думать о вас? — спросил серьезно Горбовский. — Нет, не стоит. — Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце. — Да, — сказал он. — На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид!

Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, так же неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений, все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно самостоятельным. Таким самостоятельным он еще не был никогда в жизни.

Вечер был красив, и если бы не черные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен: тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розовыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше; многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алей, другие остались прямо у обочин.

В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз, — у деревьев, у стен домов, на волноводах поперек дороги, на столбах энергопередач. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались, кто-то — неугомонный — затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: "Обидно... Как обидно!" Горбовский подумал, что где-то видел ее, но так и не мог вспомнить — где.

Слышалась незнакомая музыка: в открытом кафе рядом со зданием совета маленький, хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хориоле, и люди за столиками слушали его, не

шевелилась; и еще много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе, а к хориоле был прислонен большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано: "Далекая Радуга". Песня. Не оконч."

Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблескивал огромный, еще недостроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нуль-физиков, тащивших папки, свертки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел ее. Кажется, оставил в рубке. Или в тамбуре? Не надо вспоминать. Неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики еще надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо. Но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты.

У стены совета, возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, с забинтованным лицом. На коленях у него лежало блестящее никелированное банджо. Запрокинув голову, слепой слушал песню "Далекая Радуга".

Из-за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу: "А, капитан! Как ваши ульмотроны? Достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший..." Кажется, это был единственный человек на Радуге, который так и не узнал, что Горбовский настоящий капитан "Тариэля".

Из окна совета Горбовского окликнул Матвей. — "Тариэль" уже на орбите! — крикнул он. — Сейчас прощались. Там все в порядке.

— Спускайся, — предложил Горбовский. — Пойдем вместе.

Матвей покачал головой.

— Нет, дружище, — сказал он.

— У меня масса дел, а времени мало... — Он помолчал, затем добавил растерянно: — Женя нашлась, ты знаешь где?

— Догадываюсь, — сказал Горбовский.

— Зачем ты это сделал? — сказал Матвей.

— Честное слово, я ничего не делал, — сказал Горбовский.

Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в



глубине комнаты, а Горбовский пошел дальше. Он вышел на берег моря, на прекрасный желтый пляж с пестрыми тентами и удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад, на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-черные стены, он старался не замечать их.

Сейчас я должен был бы стартовать к Лаланде, думал он сквозь дремоту. Мы сидели бы втроем в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета Радуга, и как я исколесил ее всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая бороду на пальцы, а Марк бы брюзжал, что старо, скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из деритринитации...

Мимо него прошла, опустив голову, та прекрасная девушка с сединой в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со Склярным на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо ее уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. Шагах в пятидесяти она остановилась, постояла, глядя в море, и села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склярна. Склярн тоже смотрел на девушку.

— Все бессмысленно, — сказал он негромко. Скучно жил, ненужно! И все самое плохое побереглось на последний день...

— Голубчик, — сказал Горбовский. — А что может быть хорошего в последнем дне?

— Вы еще не знаете...

— Знаю, — сказал Горбовский. — Все знаю...

— Не можете вы всего знать... Я же слышу, как вы со мной разговариваете,

— Как?

— Как с обыкновенным человеком. А я трус и преступник.

— Ну, Роберт, — сказал Горбовский. — Ну какой вы трус и преступник?

— Я трус и преступник, — упрямо повторил Роберт. — Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что все делал правильно.

— Трусов и преступников не бывает, — сказал Горбовский. — Я скорее поверю в человека, который способен

воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление.

— Не надо меня утешать. Я же говорю, что вы не знаете всего.

Горбовский лениво повернул к нему голову.

— Роберт, — сказал он, — не тратьте вы зря время. Идите вы к ней. Сядьте рядом... Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам...

— Все получается не так, как хочется, — тоскливо сказал Роберт. — Я был уверен, что спасу ее. Мне казалось, что я готов на все. Но оказалось, что на все я не готов... Пойду, — сказал вдруг он.

Горбовский следил за ним, как он шагает — сначала широко и уверенно, а потом все медленнее и медленнее, как он все-таки подошел к ней, и сел рядом, и она не отодвинулась.

Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидует он или нет, а потом задремал по-настоящему. Его разбудило прикосновение чего-то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза.

— Я знал, что вы здесь, Леонид, — сообщил Камилл. — Я искал вас.

— Здравствуйте, Камилл, — пробормотал Горбовский. — Наверное, это очень скучно — все знать...

Камилл подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником.

— Есть вещи поскучнее, — сказал он. — Мне все надоело. Это была огромная ошибка.

— Как дела на том свете? — спросил Горбовский.

— Там темно, — сказал Камилл. Он помолчал. — Сегодня я умирал и воскресал трижды. Каждый раз было очень больно.

— Трижды, — повторил Горбовский. — Рекорд. — Он посмотрел на Камилла. — Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому не успею рассказать.

Камилл подумал. — Не знаю, — сказал он. — Я последний из чертовой дюжины. Опыт не удался, Леонид. Вместо состояния "хочешь, но не можешь" состояние "можешь, но не хочешь". Это невыносимо тоскливо мочь и не хотеть.

Горбовский слушал, закрыв глаза. — Да, я понимаю, — проговорил он.

— Мочь и не хотеть — это от машины. А тоскливо — это от человека. — Вы ничего не понимаете, — сказал Камилл. Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений. Бесплотный разум. Мозг-дальтоник. Великий логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днем и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же... А куда уйдешь от своей психической призмы? От врожденной способности чувствовать... Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зеленые холмы, музыка, картины, неудовлетворенность, страх, зависть... Вы пытаетесь ограничить себя — и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаете, что вы его теряете. И тогда, чтобы вытравить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы осклапываете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человеческого и оставляете только одну реакцию на окружающий мир — сомнение. "Подвергай сомнению!" Камилл помолчал. — И тогда вас ожидает одиночество. — Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. — Одиночество... — повторил он. — Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудачком. И сейчас вы тоже уйдете. А я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвертый раз, один, на мертвой планете, заваленной пеплом и снегом...

Вдруг на пляже стало шумно. Увязая в песке, к морю спустились испытатели — восемь испытателей, восемь несостоявшихся нуль-перелетчиков. Семеро несли на плечах восьмого, слепого, с лицом, обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банджо, и все пели:

Когда, как темная вода,  
Лихая, лютая беда  
Была тебе по грудь,  
Ты, не склоняя головы,  
Смотрела в прорезь синевы  
И продолжала путь...

Они, не оглядываясь, вошли с песней в море по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем,

держа на спинах слепого товарища. Справа от них была черная, почти до зенита, стена, и слева была черная, почти до зенита, стена, и оставалась только узкая темно-синяя прорезь неба, да красное солнце, да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли, и скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня:

...Ты, не склоняя головы,  
Смотрела в прорезь синевы  
И продолжала путь...

**КОНЕЦ**

Сентябрь-декабрь 1962

# ОТЕЛЬ "У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА"

*"Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации буржуазная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса..."*

*(Из газет)*

## Глава первая

Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтозеленый, над крыльцом красовалась траурная вывеска: "У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА". Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной с руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля, долины и Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся о нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену.

— Позвольте мне погрузиться в прошлое, — прогово-

рил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу.

Все было совершенно так, как рассказывал Згут. Только вот собаки нигде не было видно, но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками.

— Привет от инспектора Згута,— сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого.

— Вот достойный человек!— сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом.— Как он поживает?

— Неплохо,— ответил я, вручая ему корзину.

— Я вижу, он не забыл о вечерах, которые провел у моего камина.

— Он только о них и говорит,— сказал я и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад!— строго произнес он.— Этим займется Кайса. Кайса!— трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака.— великолепный сен-бернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой "Контора". Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий грессбух.

— Прежде всего разрешите представиться,— сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера.— Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— Что вы говорите...— пробормотал я.

— Да. Сам. И еще многое.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в руке, стояла эдакая кубышечка, пышечка эдакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин. — Кайса! Этот господин привез нам привет от господина Згута. Ты помнишь господина Згута, Кайса? Ты должна его помнить.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Помнит, — объяснил мне хозяин. — Запомнила... Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блõх нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас в номер.

Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице.

— Обедаем мы в шесть, — рассказывал хозяин. — Но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В десять вечера — легкий ужин. Танцы, бильярд, картишки, собеседования у камина.



Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь,— произнес он прежним глухим голосом.— Прощу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня...— начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпешток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм...— сказал я озадаченно.— По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется "данхилл". Из трубки поднимался дымок.

— Живет...— произнес, наконец, хозяин.— Живет ли?... Впрочем, почему бы и нет?

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь,— окрепшим голосом продолжал хозяин,— вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да!— сказал хозяин с вызовом.— Это ЕГО трубка. Это вот — ЕГО куртка. А вот это — ЕГО альпешток. "Возьмите с собой альпешток",— сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. "Но не хотите же вы остаться там навсегда!"— воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. "Пуркуа па?"— ответствовал он мне по-французски. Мне до сих пор так и не удалось выяснить, что это означало...

— Это означало "почему бы и нет?",— заметил я.

Хозяин горестно покивал.

— Я так и думал... А вот это — ЕГО саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах...

— А вот это — ЕГО газета,— сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний "Мюрский Вестник".

— Нет,— сказал хозяин.— Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление,— согласился я.

— Газета, конечно, не его,— повторил хозяин.— И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет,— задумчиво возразил хозяин,— здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенового шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор.

— Инспектор Згут как-то рассказывал мне,— произнес хозяин после короткого молчания,— что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?

Он распахнул передо мною дверь четвертого номера.

— У меня скучная специальность,— ответил я.— Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг...

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе — ни пылинки, за промытым окном — снежная равнина и сиреневые горы.

— Жаль,— сказал хозяин.

— Почему? — спросил я рассеяно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки.

— А впрочем, и не жаль несколько,— заявил хозяин.— Вам не приходилось, господин Глебски, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.

— Вы поэт, господин Сневар,— заметил я еще рассе-

янное. Я смотрел на Кайсу и понимал Згута. Пышечка-кубышечка на фоне постели выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще непознанное...

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу, обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить прямо сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немислимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий Господи, наконец-то я был один! Я знаю — нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкнутся возле меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться... Сам я этого не читал, но вот сын мой утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому, что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, именно потому что мне не хочется, а вовсе не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма... Рюмка бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно. Мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно не старым,

еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уж превосходно...

— Принести что-нибудь?— спросила Кайса.— Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это тоже было хорошо.

— Кто у вас тут сейчас живет?— спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну — кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так,— сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве.— Она снова покраснелась и принялась водить плечами.

— А еще кто?— спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотезеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотезеры... и Брюн...

— Кто это — Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах. Также шалуны, хоть и молоденькие совсем.

— Так,— сказал я.— Все?

— Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю,— признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. Ищем, ищем везде — нет туфель. А они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют...

— Какие?— Очень мне хотелось ее понять.

— Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет.

— Ну ладно,— сказал я со вздохом.— Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ.

Я раздавил окурок в девственно-чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров — должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его... Симонэ, кажется.

Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, подумал я. А можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неописуемо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет тихо... Я еще раз подергал ручку. А, ладно. Бог с ним, с душем. Успеется. Я повернулся и пошел к себе.

Что-то изменилось в моем номере, я почувствовал это сразу. Через секунду я понял: пахло трубочным табаком, совсем как в номере-музее. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было — была горка пепла вперемешку с табачными крошками. На постое стоят, вспомнилось мне. Не пьют, не едят, только следы оставляют...

И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сенбернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся.

— Ах, так это ты здесь курил?— сказал я.

Лель подмигнул и помотал головой. Словно муху отгонял.

## Глава вторая

Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах, — отъехал метров на пятьдесят, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя, — казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской... с каждым выдохом освобождаясь от самого себя — казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово; что я сюда приехал... молодец Згут, умница Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь, говорят, своих "медвежатников" по мордам во время допросов... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... а ведь я уже три года не бегал на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость... а, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать,

черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задышающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит — и тут же уходит. Вот и уши ветром заложило... Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За, езду без шлема, подумал я автоматически, пятьдесят крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц... Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер — я не мог разглядеть даже отель и половину долины впридачу — снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело! Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю.

Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина. Так и чудится, что в следующем году отель станет называться "У Погибшего Мотоциклиста". Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: "Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой четыреста тридцать два кирпича..." Хорошая вещь — реклама, подумал я, поднимаясь по ступенькам. Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах, три кроны за литр.

Посредине холла стоял невообразимо длинный и

очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр,— почти пропел он.— К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр?— с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый,— произнес он.— С кем имею честь?

Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то несвойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.

— Какая прелесть!— пропел вдруг дю Барнстокр, хватая меня за лацкан.— Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя проаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава,— заявило оно хриплым басом.— Хилая работа, дядя.

— Из рукава!— грустно повторил дю Барнстокр.— Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хотя и недостойная такого знатока, как господин Глебски.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел



на нее, задрал брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски,— сказал дю Барнстокр.— Я следил за вами из окна. И надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы,— пробормотал я.— Так, бегал когда-то...

— Дядя,— воззвало вдруг существо из недр кресла.— Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да!— сказал он.— Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную испарпанную руку.

— Хорошо мы вас шуганули?— осведомилось оно сипло.— Там, на дороге...

— Мы?— переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему залепил,— сообщило оно дяде.

— В данном случае,— любезно пояснил дю Барнстокр,— Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб.

— Сигаретку бы,— напомнило чадо.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затаилось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска,— сказал мне дю Барнстокр.— Скоро обед...

— Да,— сказал я.— Конечно. Прошу прощения.

Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж.

В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся, и взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то визг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: "Кушать, пожалуйста!". Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. "Кушать, пожалуйста!" — донеслось издали, а потом еще раз: "Кушать, пожалуйста!", а потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание; мужественная замкнутость профессионала; простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа "гы". Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упиравшись ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась однако же вполне непригнутой. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт.

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сообщил он. — Но "от кибернетики" звучит почти так же плавно, как "от инфан-

терий". Получается смешно.— И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы там делали наверху?— спросил я, преодолевая оторопь.

— Тренировался,— отвечал он.— Я ведь альпинист...

— Погибший?— сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота.

— Неплохо, неплохо для начала,— проговорил он, вытирая глаза.— Нет, я еще живой. Я приехал сюда ползать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам...— Он вдруг замолчал и взял меня под руку.— Собственно говоря,— сказал он,— я приехал сюда проветриться. Переутомление. Проект "Мидас", слышали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий.— Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски.— Держитесь за мной, инспектор,— гаркнул он на бегу.— Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

Столовая была большая, в пять окон. Посредине стоял огромный овальный стол персон на двадцать; роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками; скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски — хватай, что успеешь. На другой столик, поменьше, Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном — сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея — бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка (на лепестках эдельвейса, утверждал Згут).

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно

косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах да еще, пожалуй, в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносом в руке. На подносе в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крикнул. Симонэ тоже крикнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: "О! Это настоящий мужчина". Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. "Дает!" — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы.

— Господин Глебски! — сказал хозяин. — Госпожа Мозес.

Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко,

— унылый шалун Симонэ, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее — о том, что в отеле происходят последние дни странные вещи. Меня как новичка посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно два дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похихатывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу — и делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то несомненно бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса, так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегаёт в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и сенбернарном, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам — покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи

Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказала чадо с пренебрежением. — "Все прекрасно, но не делится пополам". Этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неувловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилось в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка. Но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток — из тех, что разводят блох на пляжах и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых — господин Симонэ поправит меня, если я ошибаюсь, — только в нашей Галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

Самого дю Барнстокра спрашивать как-то неловко, размышлял я. К тому же он, пожалуй, и сам толком не

знает. Откуда ему знать? Дитя и дитя... Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?... Жаркого еще взять, что ли?... Кайса, без сомнения, глупа, но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает...

— ...Согласитесь,— журчал дю Барнстокр,— мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку-планету через бездны Космоса,— эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение...

— Подсчитал,— сказал Симонэ.— Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус "е" в степени минус единица.

— Неужели так и будет?— сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении?— осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети,— ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность!— с жаром сказал дю Барнстокр.— Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения!

Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой.

— На себя!— крикнул хозяин.— На себя, пожалуйста!

Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги, с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Ольга!— прорычал он, глядя перед собой мутными глазами.— Супу!

Возникла короткая суэта. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столу с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать

руками движения, означающие готовность всячески услужить, Симонэ поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче — снег, — объявил он. Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства, — пояснил дю Барнстокр, приятно улыбаясь.

— Что это вы имеете в виду? — спросил господин Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на дю Барнстокра. — Не ожидал этого от вас, Барн... Барл... дю!

— О, это чистая теория! — легко воскликнул дю Барнстокр. — Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...

— Вздор, — сказал господин Мозес. — Чепуха. Математика — это наука... А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — господин инспектор Глебски. Господин Глебски — господин Мозес.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... Так вы имейте в виду, Глебски, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?

— Не жалуюсь, — сказал я.

— Ну так вот, не забывайте. — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а



чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно,— сказал господин Мозес.— Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон,— сказал он нерешительно.— У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения,— удовлетворенно констатировал господин Мозес.— А дальше?

— Все,— сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как — все?— спросил он с негодованием.— Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет,— сказал Симонэ.

— Это наглость,— сказал Мозес.— Надо было вызвать метрдотеля.— Он с отвращением отодвинул от себя тарелку.— На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть,— сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар,— сказал он,— вы нашли негодяя, который крадет туфли?... Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна.

Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего Буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а дю Барнстокр, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом Буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание.

— Совершенно как на Ниагаре,— прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес.

— Как на ракетодроме!— возразил Симонэ.— Зверская машина.

Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки.

— Инспектор,— произнес он,— а что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих,— ответил я.

— Странная мысль,— неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько,— возразил я.— Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да!— произнес хозяин глухим голосом.— Конечно, в доме только свои. Но ОН был для Леля не просто своим. ОН был для него богом, господом!

Мозес уставился на него.

— Кто это — ОН?— спросил он строго.

— ОН. Погибший.

— Как интересно!— прошептала госпожа Мозес.

— Не забивайте мне голову,— сказал Мозес хозяину.—

А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте — действительно посоветуйте!— ему прекратить. Вы меня понимаете?— Он обвел нас налитыми глазами.— Иначе я тоже начну шутить!— рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? (Может быть, он уже начал шутить?) И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз сто и весьма основательно?..

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господи. До ужина.

## Глава третья

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель... но только не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштосов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. "Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?" Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив дым мне в лицо, ответил: "Я — Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома". Что вы на это скажете?

Я подумал.

— У меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, — сказал я.

— Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие.

— Значит, взбесившийся миллионер.

— То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресло и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто "Шалаш". Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Я верю во все, что могу себе представить, Петер. В волшебников, в господ Бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?

— Вы философ, Алек.

— Да, Петер, я философ. Я поэт, философ и механик. Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Вошел сенбернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол.

— Лель, — сказал хозяин. — Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать, если бы умел. И если бы захотел, конечно.

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ушипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес, — возразил я.

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и вовсе не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как — бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. И вообще о господине Мозесе заговорили вы, я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике.

— Ладно, — согласился я. — Поговорим о великом физике.

— Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим.

— Подождите, — сказал я. — Кого, вы собственно, имеете в виду?

— Господина Симонэ, разумеется. Неужели вы никогда раньше не слыхали этого имени?

— Никогда, — сказал я. — А что, он попадался на подлогах багажных квитанций?

Хозяин посмотрел на меня укоризненно.

— Героев национальной науки надо знать, — строго сказал он.

— Вы серьезно? — осведомился я.

— Абсолютно.

— Этот унылый шалун — герой национальной науки?

Хозяин покивал.

— Да, — сказал он. — Я понимаю вас... Конечно:

прежде всего манеры, а потом уже все остальное... Впрочем, вы правы. Господин Симонэ служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает.

— Гм... — произнес я. Это было почище арапника.

— Я вижу, вы не верите, — сказал хозяин. — Но должен вам заметить...

Он замолчал, и я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное дитя покойного брата господина дю Барнстокра. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в огромных черных очках. Дитя было какое-то очень уж одинокое, всеми забытое и маленькое. И от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина.

— Метель какая... — сказала оно тоненьким жалобным голоском.

— Брюн, — сказал я. — Дитя мое. Снимите на минутку ваши ужасные очки.

— Зачем? — жалобно спросило чадо.

Действительно, зачем? — подумал я и сказал:

— Я хотел бы увидеть ваше лицо.

— Это совершенно не нужно, — сказала чадо, вздохнуло и попросило: — Дайте, пожалуйста, сигаретку.

Ну, конечно же, это была девушка. Очень милая девушка. И очень одинокая. Это ужасно — в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я шелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила, как девушка — короткими нервными затяжками.

— Как-то мне страшно, — сказала она. — Кто-то трогал ручку моей двери.

— Ну-ну, — сказал я. — Наверное, это был ваш дядя.

— Нет, — возразила она. — Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то вдруг показалось, что он умер...

— Рюмку бренди, Брюн? — сказал хозяин глухим голосом. — Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?

— Не хочу,— сказала Брюн и передернула плечами.— Вы еще долго будете здесь сидеть?

У меня не стало сил слушать этот жалобный голос.

— Черт возьми, Алек,— сказал я.— Вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой?

— Эта идея мне нравится,— сказала дитя, оживившись.— Кайса — это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде.

Я в замешательстве опорожнил стакан, а дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окуроч.

— Машина,— сказала оно сильным басом.— Не слышите, что ли?

Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон!— вопили фальцетом.— Двадцать крон и не грошом меньше! Черт бы вас подрал, вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом!— визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа!— загудел его мощный голос.— Это все пустяки!..

— Двадцать крон! Мне еще назад возвращаться!..

— Пятнадцать и ни гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу!

— Скупердяй ты, вот и все! Из-за пятерки удавиться готов!..

— Господа! Господа!..

Мне стало холодно, и я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял свой стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — входная дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал "бр-р-р", мощно встряхнулся и оказался светловолосым румяным викингом. Лицо у него было мокрое, на бровях белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапути!— говорил он с истерическим надрывом.— Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется,— по семь с половиной с носа. Почему двадцать? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!..

— Господа, господа!..— приговаривал хозяин.— Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: "Скряга..."— и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой?— спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не оказалось.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса, слегка колыхалась. Наверное, от сквозняка.

## Глава четвертая

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крикая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сэндвич, и я



уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, подумал я. Утро слишком хорошо для двоих... Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечешко, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже была ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим Буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы — от обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет тридцати пяти, гикая, описывая на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин дю Барнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывален в снегу, как неизменно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах, и я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это — настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симонэ. Великий физик тоже должен был где-то здесь находиться — ржание и лай его я услышал мили за три от отеля. И он здесь находился — висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь.

Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин дю Барнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалить дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, таким диким анге-

лом без манер и без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса.

Десяток лет назад я занимался этим видом спорта, однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще Буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, минуты через три я снова оказался перед крыльцом, и вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть, господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки — "ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие". Господин Симонэ издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба, господин дю Барнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и "куда его унесли".

Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шивороты снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс, и меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем — действительно, довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы — белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сенбернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю справедливость. Во всем.

В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы, что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже, поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я ни

спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, даваясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шанель у них две ванны — одна золотая, а другая, кажется, платиновая, и, когда мы не нашли, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между сенбернар Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями и, когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее как позавчера сенбернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр ловко успокоил его: извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменялся в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престижжигитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин дю Барнстокр, чрезвычайно довольный

произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой.

— Давно стоите?— осведомился Олаф.

— Да, довольно давно,— отозвался дю Барнстокр.

Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте,— сказал я.— Кто-нибудь еще приехал сегодня утром?

— Только вот эти господа,— сказал дю Барнстокр.— Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером,— возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И конечно же, дверь открылась. И конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль!— воскликнул дю Барнстокр.— Хозяин! Подите сюда!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасно выглянул Хинкус.

— Это невероятно!— возбужденно говорил дю Барнстокр.— Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?

— А у меня опять кто-то на постели валялся,— сообщило чадо сверху.— И полотенце все мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа...— приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное.— Господа!— произнес он глухим голосом.— Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка.

— А, собственно, чья...— спокойно начал Олаф.

— ЕГО. Погибшего.

— Я хотел спросить, чья, собственное, очередь?— по-прежнему спокойно сказал Олаф.

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь стоит. Герой национальной науки. Сколько воды зря пропало... Нет, этих шутников надо ловить. И наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. "Сумасшедший дом!"— сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, великий физик Симонэ прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-види-

мому, сидел, другой стоял перед ним. Загорают, подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него при этом было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете?— спросил я из вежливости.— Не сгорите там. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить,— проговорил он хрипловато.

— Жарко?— спросил я, не оборачиваясь.

— Д-да... Жарковато.

— Смотрите,— сказал я.— Мартовское солнце в горах — злое.

— Да ничего... Выпью вот, и ничего.

Мы спустились в холл.

— Вы бы все-таки оделись,— посоветовал я.— Вдруг там госпожа Мозес...

— Да,— сказал он.— Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо натягивать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал что-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там?— спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где?— отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

— И никогда не загораете?

— Нет.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы...

— Пойдемте сыграем на бильярде, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше воздухом подышу.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди.

— Смотрите, не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, дю Барнстокр сделал широкий жест и воскликнул:

— Заходите, заходите, инспектор! Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?

— Да, — сказал Олаф, не отрываясь от карт. — С радостью. — И объявил пики.

Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его и, что самое удивительное, не слышно. А впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще

приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес.

— И вы тоже загорали?— ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль.— она пересекла площадку и приблизилась ко мне.— Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором,— попросил я.— Мне до такой степени надоело это слышать на службе... а теперь еще от вас...

— Я о-бо-жаю полицию,— произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза.— Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня,— сказал я.— Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор,— ответила она и тут же спохватилась.— Простите, но как же мне вас называть теперь?

— Может быть, Петер?— предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?... Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

— Переживет,— пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа, лихорадочно неслось у меня в голове, ну и что же? И пусть. Мало ли кто глуп!

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон!— воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам.— Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь!— закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ,— сказал я с досадой.— Бросьте эти дурацкие штучки, вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе



шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко прыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес заплодировала.

— Вы просто чудо, Симон,— сказала она.— Как муха!

— Ну что, инспектор,— сказал Симонэ, чуть задышавшись.— Сразимся во славу прекрасной дамы?— Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад.— Я вас вызываю, инспектор Глебски, защищайтесь!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь,— сказала госпожа Мозес.— Прекрасная дама оставляет залог победителю.— Она бросила на середину стола кружевной платочек.— А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой Мозес уже вне себя.— Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина,— заявил Симонэ.— С ума можно сойти.— Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза.— Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами,— мрачно сказал я, собирая шары в треугольник.— Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную?— резонно возразил Симонэ.

— Не в номер же к себе мне ее вести...— огрызнулся я.

— Не умеете — не беритесь,— посоветовал Симонэ.— И поставьте шары ровнее, вы имеете дело с гроссмейстером... Вот так. Что играем? Лондонскую?

— Нет. Давайте что-нибудь попроще.

— Проще так попроще,— согласился Симонэ.

Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то вбок, потом вернулся к столу.

— Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах?— спросил он.

— Давайте, давайте,— сказал я.— Начинайте.

— Сейчас я вам напомним,— пообещал Симонэ. Он элегантнейшим образом покатал кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще

шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и наконец скиксовал.

— Ваше счастье,— сообщил он, меля кий.— Реабилитируйтесь.

Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка,— сказал Симонэ. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то вбок.— Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя.

— Это Хинкус,— проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит,— сказал Симонэ.— Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Это истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку.

— Не разглядывайте, не разглядывайте,— сказал Симонэ, подходя к столу.— Нет у вас никаких оправданий.

— Что вы собираетесь бить?— спросил я недоуменно, следя за ним.

— От двух бортов в середину,— с невинным видом сообщил он.

Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Потом еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?..

— Вы будете бить или нет?— спросил Симонэ.— Что там такое?

— Хинкус надирается,— сказал я.— Ох, свалится он сегодня с крыши.

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Интересно, о чем чадо может разговаривать с Хинкусом? Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет, — сказал я мрачно. — И не собираюсь.

— А я вот читал, — сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ, — сказал я мстительно. — Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно, — сказал он. — Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

— А я? — спросил Симонэ.

— А вы играйте сами с собой в бильярд, — посоветовал я. — Или ступайте в номер к Олафу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями.

— А, — сказал Симонэ. — Я уже.

— Что — уже?

— Уже просадил Олафу двести крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже неинтересно. Тогда я взял и напустил на него Барнстокра. Фокусник есть фокусник, пусть-ка он его пощиплет...

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку. — Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот... — Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. — Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— Ого, — сказал я. — Это уже вторая...

— А что здесь еще делать? — спросило чадо.

— А вы тоже с ним заряжались? — спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной?— спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже,— добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает?— осведомилось чадо.

— Да,— ответил я.— А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Сейчас она... оно скажет: "Я закусывал" или "закусывала". Не может же оно сказать: "Я закусывало"...

— А ничего,— хладнокровно сказала чадо.— Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно,— с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну, а надираться среди бела дня — это не по мне,— закончило чадо, торжествуя победу.— Пусть этот ваш Хинкус надирается.

— Ладно,— пробормотал я.— Пойду побрежусь.

— Может быть, есть еще вопросы?— спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами,— сказал я.

Хлопнула дверь — чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу,— сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки.— Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

— Знаю я, как вы там будете перекусывать,— сказал я.— Ступайте сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует.

Симонэ хохотнул и сказал:

— Раз уж вы человек семейный, вы можете мне сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу.

— Занимайтесь Кайсой,— сказал я.— Оставьте эту загадку полиции... Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?

— И не думал,— возразил Симонэ.— Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин.

Я пожал плечами, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там

послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон,— прохрипел он при виде меня.— Грязное логово.

— Что вы тут делаете?— спросил я свирепо.

Господин Мозес немедленно взинтился.

— Что я тут делаю?— взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло.— Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду?— продолжал он, взвинчивая себя все круче.— Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду! Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы?— спросил я, нахмурившись.

— Да!

— Когда вы обнаружили пропажу?

— Только что!

Шутки кончились. Золотые часы — это вам не войлочные туфли и не занятый привидением душ.

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром.

— Где вы их обычно храните?

— Я не храню часы! Я ими пользуюсь! Они лежали у меня на столе!

Я подумал.

— Советую вам,— сказал я наконец,— написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело, — возразил я, пожав плечами. — Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я подумаю... — Он помолчал. — Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я — к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: "Когда я слышу слово "культура", я вызываю мою полицию". Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же — в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: "Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры".

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно

хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

## Глава пятая

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был как всегда пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, судя по всему, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск или даже просто осмотр без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить в ближайшее время.

Пятый или шестой ключ мягко шелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посередине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь две недели.

Содержимое первого, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый

багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, пачка денег — солидная пачка, побольше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, часы господина Моисея. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0.25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких старинных и массивных — настоящие гангстеры, с именем и репутацией. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем самую суть. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то хочется выдать его за такового. Правда, фальшивый багаж... Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор (хотя и не гангстер), тогда он выходит сухим из воды... Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу... Опыта не хватает. Тоже мне, Эркюль Пуаро... Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве... И в номере прятать нельзя...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: "А где же инспектор? Где он, наш храбрец?" Пронзительно взвизг-



нула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать.

Так ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу:

— Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это дю Барнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно! Скажем, в десять часов вечера, у вас...

Я принял непринужденную позу (то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать), а дю Барнстокр повернулся и, увидев меня, приветливо помахал рукой.

— Дорогой инспектор!— провозгласил он.— Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа?— спросил я.

— Представьте себе, да!— сказал он, счастливо улыбаясь.— Наш милый Олаф слишком уж методичен, играет, как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Минуточку, что это у вас?— Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту.— А, это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил нашего беднягу Олафа...

Бедняга Олаф вышел из своего номера, огромный, румяный, легкий, прошел мимо нас и добродушно улыбнулся, буркнув: "Выпить перед обедом..." Дю Барнстокр, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав.

— Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она?— пробормотал он, похлопывая себя по карманам.— Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня.— Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: "Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь

бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф."

Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли?— сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом.— Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали Погибшего...

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: "Да-да, войдите", но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели,— сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла,— сказал дю Барнстокр.— Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо и так и не сумев уговорить его помыть руки.

— Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор,— заметил дю Барнстокр, когда мы подошли к столовой.

Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство, мне захотелось затопать ногами и заорать: "Оставьте меня в покое! Дайте мне спокойно кататься на лыжах!" Но я, конечно сдержался.

Мы вошли в столовую. Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом читал Олафу лекцию о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались: лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедая икру. Тут вошла Кайса и принялась тарыхтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойдй и скажи ему, что все уже собрались,— приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь?— отрывисто спросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе,— откликнулся хозяин.— Он все еще пребывает на крыше, а я хотел бы...

— Чего там — на крыше!— сиплым басом сказало чадо.— Вон он — Хинкус!— И оно указало вилкой с нанизанным пикулем на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь,— мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, к вашим услугам, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?..— вилка с пикулем протянулась в мою сторону.

— Господа, господа!— вмешался хозяин.— Не надо спорить. Все это сущие пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрация нашего отеля, пребывает на крыше, и Кайса сейчас приведет его сюда.

— Да не идут они...— заныла Кайса.

— Какого дьявола, Сневар!— сказал Мозес.— Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес,— произнес хозяин с достоинством,— именно сейчас весьма желательно, чтобы все мы были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не хотят они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите,— сказал я.— Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услышал, как Симонэ сказал: "Правильно! Пусть-ка полиция, наконец, займется своим делом", после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая наружу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега,

вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный в шубу Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было скрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда — словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус, — сказал я. — Все собрались.

— Все? — хрипло спросил он.

Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы.

— Все до одного. Ждем вас.

— Значит, все... — повторил Хинкус.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна.

Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он. — Начинали бы... Зачем людей зря беспокоить?

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял. — Туберкулез у меня, — сообщил он вдруг. — Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... И мясо черномясой курицы, — добавил он, помолчав.

Мне стало его жалко.

— Черт возьми, — сказал я искренне, — сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно, — согласился он и встал. — Пообедаю и опять сюда вернусь. — Он поставил бутылку в снег. — Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Думаю, что нет, — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице, и спросил: — Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это должно быть вредно.

— Э-э! — произнес он с тихим отчаянием. — Разве мне можно без водки? — Он замолчал. Мы спускались по лестнице. — Без водки мне нельзя, — сказал он решительно. — Страшно. Я без водки с ума сойти могу.

— Ну-ну, Хинкус,— сказал я.— Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное,— вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса.— Вы идите, я шубу сброшу,— сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный?— громогласно спросил Симонэ.

— Я же говорю, они не идут...— пискнула Кайса.

— Все в порядке,— сказал я.— Сейчас придет.

Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом. Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. "Бросьте, Бардл... Дюбр...— гудел Мозес.— Все это — средневековый вздор". Я наливал себе суп, когда в столовой появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту — между мною и Олафом.

— Нет-нет!— вскричал хозяин, набегая на него с рюмкой настойки.— Боевое крещение!

Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом.

— Нет-нет!— возразил хозяин.— Это — лучшее лекарство. От всех скорбей! Так сказать, панацея. Прощу!

Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол.

— Ах, какой мужчина!— восхищенно прозвенела госпожа Мозес.— Господа, вот истинный мужчина!

Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел, он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствования дю Барнстокра, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа!— торжественно провозгласил он.— Прощу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня

праздничный бал Встречи Весны. Конца обеда не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже заплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: "Ну, карты — это еще куда ни шло..." А дитя стучало вилкой об стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, я слышал, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то — не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо,— сказал я сквозь зубы.— А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы — полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус,— сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп.— Тут, знаете ли, все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

## Глава шестая

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки

шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. Хватит с него неприятностей, подумал я. Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости... Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменял рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске. И я вообще не полицейский. Мало ли как я там зарегистрировался... На самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую поддержанными умывальниками. И унитазами... Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж убогий лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остро-той, которую не расслышал. Я залпом проглотил полста-кана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и Лю Барн-стокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследова-ли к карточному столику с зеленым сукном, появившему-ся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и, поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому бандиту бутылку и стакан. Сейчас или никогда, думал я. Такое расследование во всяком случае интереснее, чем кража часов и иного барахла. Впрочем, я ведь торговец. Хорошо и прямо-таки чудом сохранившиеся умывальники...

— Танец, мадм'зель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня, — лениво ответило чадо. — Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ние! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует... Будирует! Я честный торговец, и я не позволю никому...

Блестящая мысль осенила меня. Я пожалуюсь на вас в полицию, сказал я, заливаясь счастливым смехом. Со своей же стороны могу предложить вам... нет, не унитаз, конечно, это было бы неприлично, тем более за столом... но... прекрасный умывальник. Дивно сохранившийся, несмотря ни на что. Фирмы "Павел Буре". Не угодно ли? Отдыхать так отдыхать!..

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный вставший на дурной путь подросток, который все время хлопбыстал мое бренди и за которого я нес определенную ответственность как работник полиции, опытный торговый агент и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит... Мы условились и выпили — сначала с подростком, потом с девушкой, моей невестой. Почему бы, черт возьми, молодой совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Трижды повторив не без вызова эту мысль, показавшуюся мне самому несколько спорной, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Ни законы, ни моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок и не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное, Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

— Брюн,— сказал я проникновенно,— не обращайтесь внимания. Это все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники...— Тут меня осенила новая



мысль.— А что, парень,— сказал я,— не поучить ли мне тебя стрелять из пистолета?

— Я не парень,— грустно сказала девушка.— Мы же с вами обручились.

— Тем более!— воскликнул я энтузиазмом.— У меня есть дамский браунинг...

Некоторое время мы с нею беседовали о пистолетах, обручальных кольцах и почему-то о телекинезе. Потом мною овладело сомнение.

— Нет!— сказал я решительно.— Так я не согласен. Сначала снимите очки. Я не желаю покупать kota в мешке.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес, и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно мне позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слова сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун и великий физик, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Мы с ним были пожилые опытные люди, мы предавались чувственным удовольствиям по совету врача и, наступая друг другу на ноги, мужественно и честно признавались: "Извини, старик, это я виноват..."

Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на "ты" смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с талии, пока нас тут не застучали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно

висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга?— спросила она.— Почему — бедняга?

— Он тяжело болен,— объяснил я.— У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да,— подхватила она.— Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же,— сказал я.— Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный одинокий человек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом... А тут еще все над ним шуточки шутят...

Она вдруг засмеялась своим чудесным хрустальным смехом.

— Граф Грэйсток тоже, бывало, поминутно зеленел. До того забавный!

Я не нашелся, что на это ответить, и, с облегчением сняв наконец руку с ее талии, предложил ей сигарету. Она отказалась и принялась рассказывать что-то о графах, баронах, виконтах и князьях, а я смотрел на нее и все пытался вспомнить, каким это ветром занесло меня с нею за эту портьеру. Потом портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадое. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик,— очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я отдулся и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной. Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять

шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с экзотическими именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся неумеренного торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. Помоему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку, в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания, он постоянно сбивался на "ты" и говорил при этом: "Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!.."

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: "Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..", и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: "Господа, господа! Деньги — это прах...", и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: "Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли..." Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: "Как вам угодно, господа, но Мозесам пора спать. Игра была хороша, Барн... дю... Вы — опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая..." Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горячего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиной ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из

воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симонэ пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно.

— Все,— сказал я и положил кий.— Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина дю Барнстокра, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с сенбернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь, но он наотрез отказался огласить долину воем или в крайнем случае лаем вместе со мной. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел недовольный и лег у крыльца.

Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед отелем, поглазел на залитый голубой луной фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет у дю Барнстокра, и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своей болезни и своего страха.

— Хинкус!— тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна.

— Пойдем, Лель,— сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его в свой замысел. Я встретил полное понимание.

— Сейчас можно отлично посидеть в каминной,— сказал он.— Ступайте туда, Петер, а я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, шелкая выключателями, потом шаги его затихли, а наверху в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю: "Нет-нет, Лель, не приставай,— говорил он строго.— Ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олаф жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака..."

Итак, викинга опозорили вторично, подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олаф отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: "Молодец, собака, так ему и надо!"

В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: "Ой, господи!" Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали?— спросил он.

— Да. Что это было?

— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. Хорошо!— подумал я, устраиваясь поудобнее.

— Хорошо!— сказал я вслух.— Правда, Лель?

Лель не возражал, хотя у него и не было горячего портвейна.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер,— глухо и торжественно, произнес, наконец, он.— Мы отрезаны от внешнего мира.

— То есть как?— спросил я.

— До которого числа у вас отпуск, Петер?— продолжал он тем же глухим голосом.

— Скажем, до двадцатого. А в чем дело?

— До двадцатого,— медленно повторил он.— Больше двух недель... Да, у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу.

Я поставил стакан на колено и саркастически посмотрел на этого мистификатора.

— Говорите прямо, Алек,— сказал я.— Не щадите меня. Что случилось? Вернулся, наконец, ОН?

Хозяин довольно осклабился.

— Нет. До этого, к счастью, пока не дошло. Должен вам сказать — между нами,— что ОН был на редкость сварливый и капризный тип, и если бы ОН вернулся... Впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть две недели в запасе, потому что раньше нас, может быть, не и откапают.

Я понял.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему,— продолжал он.— Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит с избытком,— задумчиво сказал я.— А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет,— сказал хозяин самодовольно.— Разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю: Кайсу я вам не отдам. Можете обглаживать господина дю Барнстокра. Он выиграл у меня сегодня семьдесят крон, старый мошенник.

— А как насчет топлива?— спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм...— сказал я.— Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал:

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой,— гордо сказал хозяин,— у нас особенно хорошо. Одной только фирменной наливки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Мне было хорошо как никогда. Я обдумывал возникшие только что перспективы, и чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом?— спросил я.— Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через две недели. А какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга...

— Это так,— самодовольно признался хозяин.— Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса?— удивился я.— Он сказал вам, что ждет друзей?

— Нет, не то чтобы сказал... Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.

— Ну и что?

Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал:

— "Мюр, отель "У Погибшего Альпиниста". Жду, поторопитесь". Примерно вот так.

— Вот уж никогда бы не подумал,— пробормотал я,— что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя... почему бы и нет? Пуркуа па, так сказать...

## Глава седьмая

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека (да, существует, однако нам этого никогда не познать); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает, ввиду наличия у хозяина в сарае вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн — это зомби, то есть оживленный магией мертвец, пола не имеющий)...

Кайса прибрала в столовой, перемыла всю посуду и явилась за разрешением лечь спать. Мы ее отпустили. Глядя ей вслед, хозяин пожаловался мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то чтобы ушла... тут все не так просто... но, одним словом, жены у него теперь нет. Я ответил, что не советую ему жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых, Кайса слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Хозяин согласился, что все это верно, он сам много думал об этом и пришел точно к таким же выводам. Но, сказал он, на ком же ему тогда жениться, если мы теперь навеки замурованы в этой долине. Я оказался не в силах что-либо ему посоветовать. Я только покался, что женат уже вторично и таким образом, вероятно, исчерпал его, хозяина, лимит. Это была страшная мысль, и хотя хозяин тут же простил мне все, я все же ощутил себя эгоистом и ущемителем интересов ближнего. И чтобы хоть как-то скомпенсировать эти свои отвратительные качества, я решил посвятить хозяина во все технические тонкости подделки лотерейных билетов. Хозяин слушал внимательно, но мне этого показалось мало, и я потребовал, чтобы он все записал. "Забудете ведь! — повторял я с отчаянием. — Протрезвеете



и забудете..." Хозяин страшно перепугался, что он действительно все забудет, и потребовал практических занятий. Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял!— строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага,— сказал хозяин, поднимаясь.— Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь!— прошептал я.— Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь,— глухим голосом произнес хозяин.— Боюсь, что это, наконец, ОН. Надо отпереть.

— Не надо!— возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и поскуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так, по-моему, должны вести себя собаки, впервые встретившись с привидением. Пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать дверей, хозяин принял самостоятельное решение. Он смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы все трое бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. "Берите его под мышки, Петер,— распорядился он,— а я возьму за ноги..." Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок — оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной

рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Значит, у него что-то случилось с автомобилем, и он был вынужден добираться до отеля пешком. И видимо, издалека, раз он так обессилел и замерз. Тут я понял. Совершенно ясно: он ехал сюда на автомобиле и попал под лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса... Может быть, в машине остались еще люди, искалеченные так, что они не могут двигаться. Может быть, уже жертвы... Хинкус должен знать...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Пробегая мимо душевой, я слышал, как там обильно лилась вода и хозяин свирепым шепотом разносил Кайсу за глупость. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. Да ведь он все еще на крыше! — ужаснулся я. Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз? Я стремглав помчался к чердачной лестнице... Так и есть, — сидит на крыше. Он сидел в прежней своей позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под руку.

— Хинкус! — растерянно закричал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я протрезвел уже окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было множество следов, и все они были совершенно одинаковые, не разберешь чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли

здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, насколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

Стоп, подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обдελывал какие-то свои делишки... лже-туберкулезник, лже-бедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобратъся в следах, ничего не понял, искал в снегу, нашел две бутылки — одна была пустая, в другой еще оставалось бренди. Вот это самое недопитое бренди доконало меня. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее пяти крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как-будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая. Значит, он здесь. А если и отлучился, то намерен вернуться.

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо прогнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Но потом я вспомнил записку, которую подбросили дю Барнстокру, и мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что дю Барнстокра убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потро-

гал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: "Одну минуточку, я сейчас..." Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: "Странно, однако..." Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока.

Нет, решительно подумал я. Убийство — это, конечно, чепуха, и записку ему подбросили либо в шутку, либо для отвода глаз. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Впрочем, в контору к хозяину можно попасть и сверху, спустившись из столовой в кухню и пройдя потом через буфетную. Если припереть снаружи дверь буфетной... Решено, проведем ночь в холле, а завтра видно будет. Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Судя по всему, он приятель Хинкуса и, следовательно, сообщник. Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше... Нет, на этом нас не поймает, господа!

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посередине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую мятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись, наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

— Что на нем сейчас? — спросил я.

— Как это?— спросила Кайса, и я оставил ее в покое.

Я вернул ей одежду и пошел посмотреть сам. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: "Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть..." Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый как снег, один глаз болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе. Если это и был чей-нибудь сообщник, то он ни к черту не годился. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один?— спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом и тихонько стонал.

— Кто-нибудь еще остался в машине?— спросил я раздельно.— Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб,— сказал хозяин.— У него все тело как тряпка.

— Черт возьми,— пробормотал я.— А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да,— согласился хозяин.— Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать,— сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф,— сказал он без выражения.— Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага,— сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол.— Сейчас позову.

— Олаф...— повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всей ее убедительности схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один?— снова спросил я.— Кто-нибудь еще пострадал?

— Один...— простонал незнакомец.— Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь,— сказал я.— Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула.

Ну ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага,— сказал хозяин. Он взял ключи.— Ну все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится...

— Олаф...— простонал незнакомец.— Где Олаф?

— Сейчас, сейчас,— сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор.— Вот что, Алек,— сказал я.— Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага,— снова произнес хозяин, играя бровями.— Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Он нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и в ту же секунду увидел на двери перед самым носом записку. Записка была приколота кнопкой на уровне глаз. "В соответствии с договоренностью, был, не застал. Если по-прежнему жаждете реванша, до одиннадцати часов к Вашим услугам. Дю Б."

— Это вы видели?— быстро спросил я хозяина.

— Да. Только не успел вам сказать.

Я снова постучался и, уже не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который?— спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа?— осведомился он.— Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр,— сказал хозяин,— но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как?— произнес дю Барнстокр с интересом.— Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

Это был Олаф Андварафорс, истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв.

## Глава восьмая

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократические брылья его обвисли и жалко подрагивали.

— Какой ужас!— бормотал он, с отчаянием глядя на меня.— Какой кошмар!..

Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!..— бормотал дю Барнстокр у меня за спиной.— И ни реванша теперь... и ничего...

— Идите к себе в номер,— сказал я ему.— Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Да, одну минуту. Записка ваша?

— Моя,— сказал дю Барнстокр.— Я...

— Ладно, потом,— сказал я.— Идите.— Я повернулся к хозяину.— Оба ключа я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока

не сообщайте этому... одному. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж — все ли машины на месте... Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому не слова, поняли?

Хозяин молча кивнул и отправился вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загроможденный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще даже хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью... какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. Что же мы имеем, инспектор Глебски? Вместо того, чтобы лежать между свежими простынями и сладко спать. Вместо того, чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру. Вместо того, чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна. Вместо того, чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за четыре года... Что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп. Зверское убийство. Тоскливую уголовную неразбериху.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежавшим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежащее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот



оскален. Вблизи рта ощущается запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмыслимые следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа (я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представляется возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, сам по себе тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом? Почему его попросту не ткнули ножом или не придушили веревкой, на худой конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть?.. Садизм?.. Хинкус? Может быть, и Хинкус, хотя Хинкус на вид, пожалуй, жидковат для таких упражнений... А может быть, не Хинкус, а тот, кто подбросил мне записку о Хинкусе?..

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался... Вот что мне надо сделать: сесть в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюра и вернуться сюда с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было, но снова сел. Хороший, конечно, это был выход, но уж больно плохой.

Оставить здесь все на произвол судьбы, дать убийце время и разные возможности... оставить дю Барнстокра, которому грозили... Да и как я переберусь через завал? Можно себе представить, что это такое: лавина в Бутылочном Горлышке.

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе чашку с горячим кофе и сэндвичи.

— Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяются его шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукый?

— Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцем натеки клея на столе. — Н-да... Так вот, он спит. Станный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай.

— Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запрю, она у меня дура. Хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает, — сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сэндвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время нетрудно будет установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, мы это установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену — из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, поддернул рукава и осторожно, на цыпочках вышел в коридор. По физиономии, по щекам,

мельком подумал я. Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали. Я подскочил к столу и отшвырнул тяжелое кресло.

— Вылезай!— яростно приказал я.

В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и тарасил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит?— спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и, наконец, подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось?— спросил я. Глядя на него я испытывал определенное облегчение: оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня.

— Что случилось...— бормотал он.— Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почему я знаю?— сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло.— Бог ты мой!— пробормотал он.— Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет,— сказал я.— Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь...— пробормотал он.— Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи,— ответил я.

— Час ночи...— повторил он.— Час ночи...— Глаза у него остановились.— Нет,— сказал он и поднялся.— Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется,— сказал я.

— А я вам говорю, что хочу выпить!— сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю, что успеется!— сказал я, снова пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться?— уже в полный голос взвизгнул он.

— Не орите,— сказал я.— Я — полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении?— спросил он, сразу сбавив тон.

— Сами знаете,— ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше.

— Ничего я не знаю,— угрюмо заявил он.— Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу. А вы за ваши штучки ответите, инспектор.

Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки.

— Слушайте, Хинкус,— сказал я.— В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что, если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего, семь бед — один ответ.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство...— повторил он как бы разочарованно.— Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили... А кто убит?

— А вы думаете — кто?

— Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом...— Он замолчал.

— Ну?— сказал я.— Что было потом?

— А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел: думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом

он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну?— сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы,— сказал я.

Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они,— сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка отломилась, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был?— снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади,— угрюмо произнес он.— Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту,— прохрипел он.— К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать... И мне нужно выпить!— заорал он вдруг.— У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. Однако и я не имел права отступать.

— Как угодно,— холодно сказал я.— Тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете.

— Да что вам от меня нужно?..— простонал он. Я

видел, что он вот-вот заплачет.— Чего вы ко мне привязались?

— Кто вас схватил?

— Ч-черт!— прошипел он в отчаянии.— Да не желаю я об этом говорить, можете вы это понять? Видел, да, видел, кто это был!— Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону.— Врагу своему не пожелаю такое увидеть!.. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого! Вы бы сдохли от страха!

Он был не в себе.

— Ладно,— сказал я и поднялся.— Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой,— сказал я.

Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как онотреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

— Господи,— прохрипел он, утираясь.— Смачно-то как!..

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно было не все в порядке: никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних, и остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило! Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало, возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то... И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками... и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши...

— Слушайте, Хинкус,— мягко сказал я.— Тот, кто вас схватил... вы ведь видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так,— сказал я.— Ну, пойдете. Я запроу вас в номере. Бутылку можете взять с собой.

— А вы?— хрипло спросил он.

— Что — я?

— Вы уйдете?

— Естественно,— сказал я.

— Послушайте,— сказал он.— Послушайте, инспектор.— Глаза у него бегали, он искал, что сказать.— Вы... Я... Вы... вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь... Или, может быть, я побуду с вами?— Он умоляюще глядел на меня.— Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере?— спросил я.

— Да,— ответил он.

— Но ведь я вас запроу,— сказал я.— И ключ унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет,— пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус,— строго сказал я.— Будьте мужчиной! Что вы раскисли, как старая баба?

Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с его совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор!— немедленно начал он, выделявая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке.— Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса,— мрачно сказал я, опускаясь в кресло.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле...— Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом.— Поверьте, поймите меня правильно: это были просто шутки! Пусть не бог весть какие изящные и остроумные, но совершенно невинные... Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду?— спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимается дю Барнстокр. Я был о старике лучшего мнения.

— Н-ну... Все это маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутки с душем... Вас я немножко помистифицировал — помните, пепел из трубки?... Ну и тому подобное, я уж не упомяну всего...

— Стол у меня испоганили тоже вы?— спросил я.

— Стол?— Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь...

— Н-нет,— испуганно сказал он.— Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам!— Он снова прижал руки к груди.— Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы!— Он замахал на меня руками.— Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось, он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое "позвольте мне погрузиться в прошлое..."

— Понятно,— сказал я.— А следы в коридорах?



Лицо дю Барнстокра сделалось сосредоточенным и серьезным.

— Нет-нет,— сказал он.— Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей... Тоже шутка, конечно, но не моя...

— Хорошо,— сказал я.— Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой,— сказал дю Барнстокр с достоинством.— Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку,— сказал я.— Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку,— повторил я. Я ощутил приближение новой мысли.— Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?

— Совершенно с вами согласен,— сказал дю Барнстокр.— Уже потом я понял, уже прочитав, что, будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь. Но в тот момент я действовал как-то подсознательно, что ли... Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею...

— Так,— сказал я.— И что же Олаф? Смеялся?

— Н-нет, он не смеялся... У него, знаете ли, чувство юмора... В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас... Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек...

— Знаю,— сказал я.

— Вы полагаете, эта записка действительно?..

— Все может быть,— сказал я. Мы помолчали.— А

теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте,— сказал дю Барнстокр.— Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время...

— Одну минуту,— прервал я его.— Это было в половине десятого, говорите вы?

— Да, примерно.

— Хорошо. Тогда расскажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м...— произнес он.— Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять... О! Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, танцевали только Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти,— закончил он с сожалением.

— Так,— сказал я.— А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет,— сказал он уверенно.— Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— То есть в девять часов в зале было только трое игроков, Брюн и Олаф?

— Именно так. Это я помню совершенно отчетливо.

— Хорошо,— сказал я.— Теперь вернемся к вам. Итак, после того как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах?... А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я, знаете ли... даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я

выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался. Я постучал вторично, и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно шепетилен. Я написал известную вам записку и приколот ее к двери. Затем я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, и в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу,— сказал я.— Понятно. Значит, с того момента, как вы приколотли записку, и до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет,— сказал дю Барнстокр.— Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу,— сказал я.— И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?... А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то фокусом... Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет,— сказал он.— Насколько мне помнится — нет.

— И не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался.

Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации. (Он молча замахал на меня руками.) Ну, вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать.

— Я попытаюсь,— с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ,— произнес я угрюмо.— Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката,— объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ,— сказал я с отвращением.— А еще физик. Какие вам тут, в задницу, адвокаты?

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нашупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне?— страстно продолжал Симонэ.— Ведь должны же быть мотивы... Никто же не убивает просто так... Конечно, существуют садисты, но они ведь сумасшедшие... Тем более такое зверство, такой

кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз — женщина.

— Вы же отлично знаете,— горячечно бормотал Симонэ,— преступлений просто так не бывает. Правда, Андре Жид писал... Но это все так, игра интеллекта... Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня: разве я похож на убийцу?

— Стоп,— сказал я.— Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста,— с готовностью сказал он.— Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда, и только правда. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала... Да она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Н-ну, и вот часов в одиннадцать, когда все уgomонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошелся мимо каминной — я был в носках — и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта, это сразу придало мне бодрости. Темно было — хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая.... твердая, окоченевшая... Лед! Окаменевшая, как дерево! И этот оскал... Я не помню, как оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая... И потом, я не зверь...

— Наденьте брюки,— сказал я с тихим отчаянием.— Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда?— спросил он с ужасом.

— В тюрьму!— гаркнул я.— В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком предложил ему оставаться на месте и свернул в коридор на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симонэ семеня за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде "а-ап!".

— Прошу прощения, — еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока.

Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Вернемся в ваш номер.

Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. Я вдруг сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественное доказательство. И кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику.

Войдя, Симонэ бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!..

Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Клянусь вам. Она была мертва, она была убита, и мало того...

— Ерунда, — сказал я холодно. — Просто вы были омерзительно пьяны.

— Нет-нет,— возразил Симонэ, мотая головой.— Я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так... Скорее, уж это был кошмар, бред... почудилось... Может быть, я и на самом деле немножко того, а, Петер?

— Может быть,— согласился я.

— Не знаю, просто не знаю... Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался... хотел даже бежать... особенно, когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами...

— Где вы находились в это время?

— Я находился... В какое, собственно, время?

— Пока мы говорили придушенными голосами.

— У себя. Я не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне...— Глаза его вдруг снова выкатились.— Постойте-ка,— сказал он.— Но если она жива... тогда из-за чего вся эта суеда? Что случилось? Заболел кто-нибудь?

— Отвечайте на мои вопросы,— сказал я. — Что вы делали после того, как ушли из бильярдной?

Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.

— Понятно,— сказал он наконец.— Значит, все-таки что-то случилось. Ну, ладно... Что я делал после того, как вы ушли? Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около десяти, а я назначил свое предприятие на одиннадцать, надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се... Этим я и занимался примерно до половины одиннадцатого. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко... Остальное вы знаете... Вот так...

— Вы вернулись в номер около десяти. А точнее? Ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы.

Симонэ тихонько свистнул.

— Ого!— сказал он.— Кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?

— Убит Олаф,— сказал я.

— Как — убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то, — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же испарились. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — "перестаньте крутить"?..

— Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда — точно — вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и дико, но... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс — минус одна минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без десяти десять.

— Что вы сделали, когда вошли в номер?

— Извольте. Я прошел в спальню, разделся... — Он вдруг остановился. — А знаете, Петер... Я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив. Впрочем, откуда мне знать, может быть, это был уже не Олаф.

— Рассказывайте по порядку, — приказал я.

— Да тут нечего рассказывать по порядку... За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс — минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату. Я тщательно умылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем... Я тщательно побрился электрической бритвой... Я тщательно оделся... — В голосе унылого шалуна стремительно нарастала язвительность. Впрочем,



он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился.— Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого. Без двух-трех минут.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И клятвенно утверждаю, что после вечеринки я Олафа в глаза не видел.

— Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва,— заметил я.

— Ну, это я не знаю... Это я не понимаю. Уверяю вас, Петер...

— Верю, — сказал я.— Теперь скажите, когда вы последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа?— произнес он с вопросительной интонацией.— Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши. А потом... куда-то он испарился, что ли... А что с ним случилось?

— Ничего особенного,— небрежно сказал я.— Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти шуточки? С душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю,— сказал Симонэ.— По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все кому не лень. Хозяин в первую очередь.

— А вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шуточки...— Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего?— спросил я.

— Ну, почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал "посещения утопленника"...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался.

— Нам повезло,— сухо сказал я.— А часы Мозеса — ваша работа?

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица?

Мне захотелось его ударить.

— Да,— сказал я.— Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете?— возмутился Симонэ.— Что я вам — форточник какой-нибудь?

— Нет-нет, не форточник,— сказал я, сдерживаясь.— Вы их утащили в шутку. Устроили "посещение Багдадского Вора".

— Слушайте, Петер,— сказал Симонэ очень серьезно.— Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот — я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица, Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку...

— Хорошо,— сказал я.— Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту.— Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку.— Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область,— сказал он.— Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да,— сказал я.

— Подумать только!— пробормотал он.— У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры?... Ну это-то, вероятно, гнезда подключения... Очень странный агрегат...— Он посмотрел на меня.— Если хотите, Петер, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рискованный. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо,— сказал я.— Дайте сюда.— Я закрыл чемодан.

— Правильно,— одобрил Симонэ, откидываясь в кресле.— Это надо отдать экспертам. Я даже знаю -- кому... Между прочим,— сказал он,— что это вы всем этим занимаетесь? Вы что — энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному,— уныло произнес он.— Мне можно идти?

— Да,— сказал я.— И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. Военное или космическое, подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку — для верности,— спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и допотопным арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене.

— Что новенького?— спросил я.

Он поднялся мне навстречу.

— Да ничего особенно хорошего,— ответил он с виноватым лицом.— Пришлось мне все-таки объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил ему, что к чему. Я решил, что так будет меньше шума.

— Плохо,— сказал я.— Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать — кого это я поселил на его территории да как посмел... Еле-еле я от него отбился.

— Ну ладно,— сказал я.— Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ — вы уж извините — оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте,— сказал хозяин.

## Глава девятая

Я выпил большую чашку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный. Но от Кайсы я почти ничего не

добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: "Чего это?" Во-вторых, она, казалось, совершенно неспособна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось определенное впечатление, что Олаф успел здесь нашалить и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. "А бусы они у меня забрали,— рассказала Кайса, хихикая и жеманясь.— Сувенир, говорят, на память, то есть. Шалуны они..." В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы об этом думаете, Алек?— спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как?— сказал я.— И что это будет за название?

— Еще не знаю,— ответил хозяин.— Но это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь и к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение?— удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока еще нет. Но оно будет, Петер. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы — полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петер... А теперь задавайте ваши вопросы.

И тут неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да,— сказал он, когда я кончил.— Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, и тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— ...Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я вовсе не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все было в порядке. Все двери на верхнем этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал реальной возможностью отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает однорукий. Но тогда преступление становится изощренно сложным, это означало бы, что его запланировали давно, тщательно и с совершенно непонятной целью... А, черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив

музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал, а потом...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать,— сказал хозяин,— зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки,— сказал я.— Великий физик слегка перебрал, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор это все!— сказал я с досадой, пытаюсь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого.— Вы меня сбили, Алек, со своими глупостями... Ну ладно, потом вспомню... Давайте насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться,— мягко сказал хозяин,— но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

Я впился в него глазами.

— Ну, и что вы об этом думаете?

— А вы?— спросил он,— Я бы на вашем месте подумал об этом самым серьезным образом.

— Вы шутите или нет?— сказал я раздраженно.— Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией. Я просто склонен думать, что Хинкус того...— Я постучал себе по темени.— Я не могу представить себе, чтобы в отеле кто-то прятался, кого мы не знаем.

— Ну, хорошо, хорошо,— произнес хозяин примирительно.— Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было?— быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно,— сказал я.— Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм...— Он сильно поскреб ногтями обширную

щеку.— Нет,— сказал он решительно.— Не помню. Я, как хозяин, в общем, следил за гостями и — поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего два-три круга, но что было во время этой полосы удач...— Хозяин развел руками.— Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подседа к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну, что ж, и на том спасибо,— сказал я рассеяно. Я уже думал о другом.— А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Так.

— И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?

— Именно так.

— Спасибо,— сказал я и поднялся.— Пойду, пожалуй. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я его видел несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл,— сказал я.— Как записался у вас Олаф?

— Принести вам книгу?— спросил хозяин.— Или так сказать?

— Так скажите.

— Олаф Андварафос, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек,— сказал я и снова сел.— Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я охватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из

столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо— это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отзывался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере... Нет, рано, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса... Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса... Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте... Ладно. Вопрос: с кого начать? Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски,— сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!..

— Откройте, вам говорят!— прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо,— сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро,— сказал я, придерживая его за плечо.— Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел



в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо?— шепотом спросило оно.— Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Чего вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же?— возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя.— И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?

— А вам-то что? Невесту приревновал?

— Хватит болтать, скверная девчонка!— гаркнул я.— Олаф убит! Я знаю, что ты — последняя, кто видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.

— Нет!— прошептало оно.— Что вы? Что вы?..

— Отвечайте,— сказал я спокойно.— Вы вышли с ним из столовой и направились... Куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно.

— А потом?— повторил я.

— Позовите дядю,— сказало чадо твердо.— Я хочу, чтобы здесь был дядя.

— Дядя вам не поможет,— возразил я.— Вам поможет только одно — правда. Говорите правду.

Чадó молчало. Оно сидело, съезжившись, на кровати под большим рукописным плакатом "Будем жестокими!" и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут,— сказал я холодно.— Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться,— я сунул руку в карман,— я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю...— едва слышно пролепетало чадо.— Я скажу...

— Правильное решение,— одобрил я.— Итак, вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше?

— Мы вышли в коридор...— повторило чадо механически.— А дальше... дальше... Я плохо помню, память у меня паршивая... Он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Никуда не годится,— сказал я, покачав головой.— Попробуйте снова.

Чадó с хлоппаньем утерло нос и полезло рукой под подушку. За носовым платком.

— Ну?— сказал я.

— Это... это стыдно,— прошептало чадо.— И противно. А Олаф мертвый.

— Полиция, как и медицина,— наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость,— не признает таких понятий, как "стыдно".

— Ну ладно,— сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову.— Дело было так. Сначала шутки: жених и невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну?— сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. Может быть, я, конечно, зря, может, и не надо было давать волю рукам, но он тоже был хорош...

— Куда он ушел?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору...— Чадо махнуло рукой.— Не знаю куда.

— А вы?

— А я... А что — я? Все настроение пропало, противно, скуотища... Одно и оставалось — пойти к себе, запереться и напиться до чертиков...

— И вы напилесь?— спросил я, осторожно потягивая носом и исподволь оглядывая номер. Кавардак в номере был страшный, все было разбросано, все валялось кое-как, а стол был завален длинными полосами бумаги — лозунгами, как я понял. Вешать на дверях у полицейских чиновников... Спиртным действительно пахивало, а на полу у изголовья постели я заметил бутылку.

— Ну, натурально, я же говорю вам!

Я наклонился и взял бутылку. Бутылка была основательно почата.

— Драть вас некому, молодой человек,— сказал я, ставя бутылку на стол, прямо на лозунг "Долой обобщения! Да здравствует мгновение!".— Вы потом все время сидели здесь?

— Да. А что делать?— Чадо по-прежнему, видимо, по старой привычке, старательно избегало родовых окончаний.

— А когда вы легли спать?

— Не помню.

— Ну хорошо, предположим,— сказал я.— А теперь подробно опишите все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола, и до того момента, как вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно?— спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно,— согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы.— Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне пьяный инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения. При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: "А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой..."

Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье,— продолжало чадо злорадно,—

подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабаk в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху пониже спины и волочет за портьеру, и это уже похоже на совсем другое заведение в Гамбурге. А я смотрю на эту портьеру, и ужасно мне этого инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек — видно, что за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте, — сказал я.

— Ну; пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается — ей ведь все равно кто, лишь бы не Мозес, — и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну, знаете! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе пошла, или в пустой номер — там рядом два пустых номера... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка... а потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересенькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти... Тем более что в зале ничего интересенького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробойны... Ну, выходим мы в коридор... а дальше вам уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет, — сказала чадо. — Откуда? Мне было не до того. Только и оставалось — от тоски глушить водку.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы силой.

— Что вы делали днем на крыше?— спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля,— я ткнул пальцем в потолок.— И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда?— ошетинилось чадло.— Что я вам — лунатик какой-нибудь по крышам бегать?

— Значит, это были не вы,— примирительно сказал я.— Ну, хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его сначала спутали с Олафом...

— Ну, помню,— сказало чадло.

— Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. В последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда?— спросил я.

Чадло встревожилось.

— А что такого?— спросило оно.— Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, смотрю — Хинкус сворачивает на лестницу...

Я судорожно соображал. Они выскочили из столовой не раньше девяти часов, в девять они еще танцевали, их помнит дю Барнстокр. Но в восемь сорок три у Хинкуса раздавили часы, и, значит, в девять он уже лежал связанный под столом...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадло пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... но все равно— Хинкус, кому же еще быть? С Кайсой или с Мозесихой его не спутаешь... да и ни с кем другим. Маленький такой, сутулый...

— Стоп!— сказал я.— Он был в шубе?

— Да... в этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое?— Чадло перешло на шепот.— Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет,— сказал я. Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в

номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь,— приказал я.— Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

Я пошел к выходу, потом вернулся и забрал со стола бутылку.

— Это я конфискую. Мне не нужны пьяные свидетели.

— А можно, я пойду к дяде?— спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите. Может быть, он сумеет убедить вас, что надо говорить правду.

Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руках одну из ножек.

— Это вы?— сказал он хрипло и выпрямился.

— Да!— сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врёт и притворяется. Нужно быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо:— Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы мне соврали! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете мне говорить правду или нет?

На его лице промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я?— Он вдруг судорожно хихикнул.— Я шел по коридору?— Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота.— Я?.. Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно!— проговорил он, захлебываясь.— Меня видели в коридоре... и я тоже видел меня... И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня... Понимаете, инспектор? Я — меня!

## Глава десятая

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посылнее?

— У меня все есть,— ответил хозяин, несколько не удивившись.

— Инъекцию сделать сумеете?

— Я все умею.

— Вот и займитесь,— сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот — чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы... убийство, страх Хинкуса, его истерику... Но зато тогда пришлось бы решить вопрос, как он сюда попал, где и как ему удастся прятаться. У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец — у нас здесь "маленький уютный отель на двенадцать номеров; гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют"... Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь?— устало спросил я.

— Да, намерен,— с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов,— именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пойдемте в контору,— предложил я.

— Н-ну... В контору...— Он отхлебнул из кружки.— В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет,— сказал я.— Упаси бог. Но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию.

— Следствию!— Он презрительно фыркнул и снова

отхлебнул из кружки.— Ну ладно, пойдемте...— Пока мы шли, он брюзжал:— Часы не могли найти, обыкновенные украденные часы, а туда же — убийство, следствие...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Значит, ваши часы так и не нашлись?— спросил я.

Он негодуя воззрился на меня.

— А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами собой как-нибудь обнаружатся?

— Была у меня такая надежда,— признался я.— Но раз не обнаружились, ничего не поделаешь.

— Мне не нравится наша полиция,— заявил Мозес, пристально глядя на меня.— Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал: весь коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушить договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем?

— Он попал под обвал.— сказал я.— Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх.

— Но я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешения!

Я не смог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Нищebroды!— прорычал господин Мозес и припал к кружке.— Но он по крайней мере приличный человек, этот бродяга из третьего номера? Или он тоже какой-нибудь вор?

— Это совершенно приличный человек,— успокоительно сказал я.

— Почему же в таком случае его сторожит этот ваш омерзительный пес?

— Это чистая случайность,— ответил я, закрывая глаза.— Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас.

— Может быть, и покойник воскреснет?— ядовито осведомился паршивый старик.— Может быть, вы мне и это пообещаете? Я — Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не



привык ко всем этим покойникам, собакам, божедодом, обвалам и нищebroдам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи,— продолжал Мозес.— Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов... Этот Барл... Бралд... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, брюзжал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу по колено, а привык он к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и поспыстая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор,— сказал он нравоучительно и поднялся.— Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку,— сказал я.— Два пустяковых вопроса.— Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить.— Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно?— хрюкнул он.— И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно!.. Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе он бы не стал Мозесом... Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть?— осведомился он ядовито.

— Да, простите, прошу вас.

— Благодарю вас, инспектор,— произнес он еще более ядовито и сел.— Так вот, я с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном,— я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого

честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в особенности, сударь, когда речь идет о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!...

— Да-да, это было опрометчиво,— сказал я.— Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек,— сказал я, снова закрывая глаза.— Он потерпел аварию на автомобиле, он — калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам доложим, господин Мозес.— Я открыл глаза.— А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения,— заявил он.— Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно.— Он отхлебнул.— Итак, мы с госпожой Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно... — Он прищурился с большой язвительностью и повторил:— Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму, и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем покончили с первым,— возразил я.— Итак, вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Что дальше?— злобно спросил Мозес.— Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?

— Следствие было бы благодарно вам, сударь,— сказал я с чувством.

— Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия! Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и

возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я — Мозес, не позволили мне нагрязнуть немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы, никаким бездельникам я не позволяю...

— Да-да, и будете совершенно правы,— поспешно сказал я.— Еще один, последний вопрос, господин Мозес.

— Последний!— сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству?— сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло.— И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я слышал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь мерзкого пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал, что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно— приписывать такой обыкновенной личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничье-полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умствен-

ного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас неостанется благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один...

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, что он, по словам хозяина, лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая,— проскрипел Мозес, ваясь в кресло.— Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски?— откликнулась красавица.— Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Столько поэзии!.. Луна...

Я сел на стул.

— Инспектор делает нам честь, дорогая,— объявил Мозес,— подозревая нас с вами в убийстве этого Олафа. Вы помните Олафа? Так вот, его убили.

— Да, я уже слыхала об этом,— сказала госпожа Мозес.— Это ужасно. Милый Глебски, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии?

Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К чертовой матери.

— Сударыня,— сказал я сухо.— Следствием установлено, что вчера примерно в половине девятого вечера вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодуя заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну, разумеется, подтверждаю,— сказала она.— С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю,— продолжал я,— вы спус-

тились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего, это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется...— сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, и я весь так и напрягся. — Ну конечно!— воскликнула она.— Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку...

— Где?— быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку,— сказал я.— Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило ворковали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потом принялось врать в надежде, что как-нибудь да пронесет.

— Я — женщина, инспектор,— продолжала госпожа Мозес.— и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы бы не услышали от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я обязана быть вполне откровенной... Не правда ли, Мозес?

Мозес из своего кресла пробурчал что-то неопределенное.

— И еще,— продолжала госпожа Мозес.— Но это уже, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спустилась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек...

— Хинкус,— просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения,— сказал я.— Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно,— раздраженно прорычал Мозес.— Моя жена ясно сказала вам, что она встретила этого Фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес,— ласково произнесла госпожа Мозес.— Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, это ему важно... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... как это называется... овчина! От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал,— прорычал Мозес поверх кружки,— сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы, наконец, закончили?

— Нет, не совсем,— проговорил я медленно.— Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное легли спать и крепко заснули?

— Крепко заснула?... Да как вам сказать... Так, подремала немножко, я чувствовала себя возбужденной — вероятно, выпила немного больше, чем следовало...

— Но, вероятно, вас что-то разбудило?— сказал я.— Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения,— вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума?— удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого,— сказала она неуверенно.— А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого,— решительно сказал Мозес.— Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами вокруг нищebroда...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала? Не ощутил сотрясения?

— Какого обвала?— удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая,— сказал Мозес.— Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да,— сказал я.— Теперь достаточно.— Я встал.— Еще один, самый последний вопрос.

Господин Мозес зарывал — совсем как рассерженный Лель, — но госпожа Мозес благосклонно кивнула.

— Пожалуйста, инспектор.

— Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, какие-то доски... я даже не сразу поняла, куда я попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас сударыня,— пробормотал я.— Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать — хотя бы часа два. Мне предстояло еще допро-

силье незнакомца, и вторично допросить чадо, и вторично допросить Кайсу, для всего этого мне понадобятся силы, и поэтому мне надо поспать. Но я чувствовал, что мне сейчас не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала ни обвала, ни возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки произошло с Симонэ... Слишком много сумасшедших в этом деле, подумал я вяло. Сумасшедших, пьяных и дур... И вообще я, наверное, действую неправильно. Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом, со старым алкоголиком Мозесом... Да и не в этом дело. Ну, найду я убийцу. А дальше? Это же типичный случай убийства в закрытой комнате. Мне сроду не доказать, как убийца туда вошел и как он оттуда вышел... Эх, беда. Кофе что ли выпить?

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек,— сказал я.— Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса?— деловито спросил он.— Не кто-нибудь еще?

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю,— сказал он.— Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы идете по самому естественному пути, и именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теря-



ют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это и есть ваше ощущение?— горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер,— сказал он.— А я жду, когда вы, наконец, созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете!— успокоил меня хозяин.— И вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу.

— Расскажите сейчас,— вяло попросил я.

— Сейчас рассказывать бессмысленно. Вы отмахнетесь и забудете. А я хочу дожидаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи,— пробормотал я.— Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я сейчас расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?

— Ну, попробуйте,— сказал я.

— Наш великий физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

## Глава одиннадцатая

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда,— сказал я.— Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все, как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть,— сказал он,— Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал...— Он сел и удобно разва-

лился.— Впрочем, это и так было ясно по вашему обалделому виду, Петер. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек.— сказал я.— Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже,— сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ничем не отличаетесь от остальных... Я никого не подозреваю. А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать.

— Не давайте себе воли!— сказал хозяин, подняв толстый палец.

— Я вам сказал: заткнитесь. Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности. Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так,— сказал он,— тогда конечно. Значит, откуда я знаю, что увидел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес...

— Да,— сказал я.— Откуда?

Он сидел в своем кресле, широкий, кряжистый, жовиальный, невыносимо довольный собой.

— Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос:

— Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий, на первый взгляд, вполне осмысленные и самостоятельные действия,— носит название зомби. Строго говоря, зомби не есть мертвец...

— Слушайте, Алек,— утомленно сказал я.— Мне все это неинтересно. Я понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но мне-то все это неинтересно! Вы обещали рассказать что-то насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте!

Некоторое время он грустно смотрел на меня.

— Да,— сказал он наконец.— Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну, хорошо.— Он вздохнул.— Пусть будут факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель осыпали посетителями господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности как она. Сейчас вы спросите меня, почему я уверен, что это была кукла, а не госпожа Мозес. В ответ я мог бы перечислить вам некие конкретности: неестественность позы, остекленелый взгляд, абсолютная неподвижность черт и так далее. Но в этом, по-моему, нет никакой необходимости. Всякий нормальный человек, как мне кажется, способен в течении нескольких секунд сообразить, что перед ним: манекенщица или манекен. Эти несколько секунд у меня были. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла...— сказал я задумчиво.

— Зомби,— мягко поправил меня хозяин.

— Кукла...— повторил я, не обращая на него внимания.— Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов,— сказал хозяин.— И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну что ж,— сказал я, подумав.— В конце концов это его личное дело. Я слышал о миллионере, который повсюду таскал за собой свою коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... что ж, денег у него много,

делать ему явно нечего... Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ, понял все и подsunул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! Судя по поведению госпожи Мозес... — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я.

— Ну вот вы все и объяснили, — сказал хозяин негромко.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но черт его побери, зачем ему это нужно — забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер, и рекламе этого заведения в ущерб собственной репутации я способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. Он только ухудшит свое собственное положение. Ему не следовало бы обращать на себя слишком много моего внимания...

— Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я, пожалуй, пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять, — напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь в холле и будьте наготове.

— Ну что ж, надо значит надо, — сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только наощупь, а наощупь получается не алиби, а шутка. Возможно, расчет был на то, что у бедняги Симонэ сдадут нервы, что он в ужасе заорет, поднимет всех на ноги, начнется скандал, тарарам, пере-

полох... а что дальше? И главное, при чем здесь кукла? Все это можно было устроить без всякой куклы... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла. Конечно, рассуждая гипотетически, кукла могла бы повергнуть Симонэ в глубокий и долгий обморок, но, чтобы отвлечь Симонэ, достаточно было самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ отвлечь. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То-есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Непонятно самое главное. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Взлетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают, между прочим, прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. На-

чиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто, либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов... Непонятны мотивы (не для рекламы же!), психологически совершенно неоправданно все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею... Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь: Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего непонятно. Хинкус... Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал связанный под столом. Хозяин и Кайса были в кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки!— резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза у нее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив и сказал:

— Вот что, Брюн. Перестаньте запираться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь... в коридоре, у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере,— сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя!— сказала Брюн, немедленно рассвирепев.— Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: "Слушайте — лавина!" И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я чуть не грохнулась, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела. Я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски, да еще обругал меня, и поэтому я сразу пошла к себе и напилась...

Дю Барнстокр снова застонал.

— Так,— сказал я.— Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задерживались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Хорошо. А как развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заговорила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко... Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну... и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно. — Я покосился на Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, что пил Олаф.

— Ничего. Мы не пили — ни он, ни я.

— Теперь так... гм... Вы не заметили... м-м... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?

— Нет. Там был очень чистый, свежий воздух.

— Я не о комнате. Черт возьми, когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду...

— Ничего я такого не заметила, — сказала Брюн сердито.

Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и спросил напрямую:

— Есть предположение, что Олафа перед убийством



отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если на ваших глазах он чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было, — решительно сказала

Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно.

— Свет вы не зажигали?

— Нет.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню, что он там говорил, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты, хохмы... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался...

— И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать...

— Да нет, конечно. Вы что — не понимаете? Это было просто так сказано... ну, для трепа...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли.

— Где?

— У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить. И тут он стал напирать на меня это ожерелье...

— А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как вам еще сказать, может быть не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна...

— Вам не кажется, что кроме вас, в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания...

Она задумалась.

— Да нет, было тихо... Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симонэ у себя в номере бродит по стенам... А больше ничего не было.

— А шум действительно относился от Симонэ?

— Да,— уверенно сказала Брюн.— Мы тогда уже стояли, и шум шел слева. Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана...

— Олаф при вас передвигал какую-нибудь мебель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... Ну потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня — все,— сказал я.— Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я и понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр,— сказал я.— Дети растут, дю Барнстокр. Все дети. В том числе и дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек,— объявил я хозяину.

— А разве я был осужден?— удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать,— сказал я.— Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь,— сказал хозяин.— Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал.

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Кстати, Алек, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?

— Трудно сказать. Раскапывать завал они, может быть, начнут даже завтра. Я помню примеры такой оперативности... Но в то же время они прекрасно знают, что

нам здесь ничего не грозит... Возможно, дня через два прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор... если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать откуда-то про сам факт обвала... Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал...

— То есть на сегодняшний?

— Да, на сегодняшний... Но завтра кто-нибудь может прилететь.

— Передатчика у вас нет?

— Ну, откуда? И главное, зачем? Это мне не выгодно, Петер.

— Понимаю, — сказал я. — Значит, завтра...

— За завтра я тоже не ручаюсь, — возразил хозяин.

— Одним словом, в ближайшие два-три дня... Хорошо. Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобится спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик — чистота... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, в пространство между крышей и потолком едва руку просунешь... Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса. Вот, собственно, и все.

— А верхняя душевая? — спросил я.

— Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я тоже нечасто наведываюсь. Посмотрите, Петер, поищите...

— Давайте ключи, — сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая

чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже, всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, но хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага,— произнес он, увидев меня.— А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду,— сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму,— сказал хозяин,— он зовет Олафа Андварафорса.

## Глава двенадцатая

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

--Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да?— сказал он удивленно, но без всякого беспокойства.— Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрываясь до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и

обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения,— сказал я,— но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно. Некоторое время мы молчали.

— Так вот,— сказал я.— Прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик,— сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он снова помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно, да,— сказал он наконец.

— В каком смысле — приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик,— сказал он.— Я — Луарвик.— Он помолчал.— Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик,— сказал он.— Механик-водитель.

— Водитель чего?— спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это,— поспешно сказал я.— Вы иностранец?

— Очень,— сказал он.— В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Что он — издевается надо мной?— подумал я. Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене.

— Зачем вы сюда приехали?— спросил я.  
— Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу.

— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?

— Да.

— Попали под обвал?

— Да.

— Ехали на автомобиле?

Он подумал.

— Машина,— сказал он.

— Зачем вам нужен Андварафорс?

— Я имею с ним дело.

— Какое именно?

— Я имею с ним дело,— повторил он.— С ним. Он расскажет.

Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.

— Сюда нельзя,— сказал я резко.

Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.

— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!

— Не орите на меня,— неожиданно миролюбиво предложил Мозес.— Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении.

— Не сейчас, позже...— Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.

— Извольте, извольте...— бурчал Мозес, вытесняемый в коридор.— Я, конечно, мог бы протестовать...

Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс?— спросил Луарвик.

— Нет,— сказал я.— Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит,— повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется.— Мертвый? Олаф Андварафорс?

— Да.

— Нет,— сказал Луарвик.— Вы неточно знаете.

— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.

— Я хочу посмотреть.

— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.

— Я имею с ним дело,— сказал Луарвик.

— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.

— Хорошо. Я хочу посмотреть.

Меня вдруг осенило — я вспомнил про чемодан.

— Он должен был вам что-нибудь передать?

— Нет,— ответил он равнодушно.— Мы должны говорить. Я — с ним.

— О чем?

— Я — с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик,— сказал я.— Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам обязательно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.

Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.

— Я ничего не могу сказать вам,— невнятно проговорил он сквозь одеяло.

— Почему?

— Я могу сказать только Олафу Андварафонсу.

— Откуда вы ехали?— спросил я.

Он молчал.

— Где вы живете?

Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.

— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.

— Чье именно?

— Зачем вы хотите это знать?— спросил он.— Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.

— Прошу вас понять,— сказал я проникновенно.— Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо. Вы, по— видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.

— Они не знают Олафа тоже,— сказал он.

— То есть как?

— Они не знают Олафа. Зачем?

Я потер обросшие щетиной щеки.

— У вас концы с концами не сходятся,— сказал я

угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?

— Это может быть. Это так.

— Кто эти люди?

Молчание.

— Где они находятся?

Молчание.

— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности.

— Зачем? — спросил он.

— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.

Луарвик Л. Луарвик не реагировал.

— Не исключено, что придется вас арестовать, — добавил я. Это была явно незаконная угроза, и я поспешил поправиться: — Во всяком случае, ваше упорное заpiresательство очень повредит вам во время суда.

— Я хочу одеть одежду, — вдруг сказал Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— С какой целью? — спросил я.

— Я хочу его видеть.

— Но вы же не знаете его в лицо.

— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.

— А что же вам нужно?

Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.

— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем опять вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?

Я тоже потерял терпение.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать... Узнать?

— Да! Узнать!

— Хочу. Хочу видеть.

— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если вы не знаете его в лицо?

— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!



— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил я.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы устали друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно — в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь там перстню... или, скажем, по татуировке...

В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: "Одеваться, пожалуйста..." Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом: по-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдерживался. Потом Луарвик сказал: "Я одел".

Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли, — сказал я. — Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не

имел дело со шлепанцами. Дважды он с размаху попытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахнулся, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг осенила на мгновение дивная мысль: что, если Олаф — не Олаф, а Хинкус... А Хинкус — не Хинкус, а Олаф, и послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Но от перестановки имен ничего в конечном итоге не прояснилось, и я выбросил эту мысль из головы.

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимание не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все осталось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно толкнул меня между лопаток. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным видом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — деловой осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен, — произнес он совершенно бесцветным голосом. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня одним глазом. Он стоял, нагнувшись, расставив

ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше?— спросил я.

— Там.— Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно.— Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался — что именно..

— Олаф Андварафорс умер не здесь?— спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете?— спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищите?

— Олаф Андварафорс имел предмет,— сказал он.— Где?

— Вы ищите чемодан?— спросил я,— Вы за ним приехали?

— Где он?— повторил Луарвик.

— Чемодан у меня,— сказал я.

— Это хорошо,— похвалил он.— Я хочу иметь его здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем?— с огромным изумлением спросил он.— Зачем снова вопросы?

— А затем,— терпеливо ответил я,— что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю,— сказал он.

— Я не знаю,— сказал я,— ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались на переносице.

— Не надо,— сказал он.— Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление све-

жим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатаванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что?— спросил я.— Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет,— решительно ответил он.— Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату,— вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырое сукно. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

## Глава тринадцатая

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятия и жалобы теснились в моей глотке, но тут взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет.

Это был люгер калибра 0.45 с удлиненной рукояткой. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его; и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался с курка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок,

серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносились обычные кухонные звуки, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес?— спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его — забыл. Должно быть, потому, что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а, скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо, один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик?— спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно,— сказал я.— Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.

Мы обогнули гостиницу, затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след

своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была не тронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И в любом случае это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка — с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель,— сказал я сенбернару,— ты молодец. А я вот — нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, в манере старины Згута. Правильно? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукина сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дело Олафа и Хинкуса связано между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупредил кого-то запиской, подписанной "Ф" (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню — кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Почему его противник пользовался такими исключительно гуманными средствами борьбы, как донос и

пленение?.. Впрочем, это как раз было бы нетрудно объяснить: Хинкус, видимо, наемный человек, и об него просто не хотели пачкать руки... Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил чашку горячего кофе и громадный треугольный бутерброд со свежей ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я торопливо жевал, он разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул.

— Да. Пистолет. Только это не я, а Лель. А я — идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет, — сказал я. — Профессиональный... Между прочим, вы слышали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Это ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он.

Я кивнул.

— М-да, я читал об этом... — сказал хозяин. — Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм, — проворчал я. Но теперь я и сам вспомнил об этом.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец. — Я уже давно жду чего-нибудь вроде. А теперь оказывается, что и не только я...

Я дожевывал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочисленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал какой-то писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия,— сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся чучелом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне наперез и загородил дорогу.

— Да?— сказал я приостановившись.

— Один небольшой, но важный разговор,— объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить. Немедленно.

— Не понимаю. Что выделить?

— Выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас...— повторил я, продолжая продвигаться к лестнице.— Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги — одну носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно,— сказал он.— Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело?— спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Давайте остановимся и поговорим,— попросил он.— Ноги ходят плохо.

Ага, припекает, подумал я. Это хорошо, это мне нравится.

— Через полчаса,— сказал я.— И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да,— согласился он.— Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность,— возразил я.— Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Все.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.



— Хорошо, пойдете ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я сяду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете права, и он — ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Доказывать не буду. Чемодан не мой. Сначала я ничего не понимал. Теперь я долго думал и все понял. Олаф украл чемодан. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: "Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре". Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите — чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа — догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы — умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант, иностранный специалист. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Но вы мне уже сказали, что вы швед.

— Швед? Не говорил. Эмигрант, политический изгнанник.

— Прошу прощения,— сказал я.— Час назад вы сказали мне, что вы швед. Что вы даже в большой степени швед. А теперь отказываетесь?

— Не знаю... не помню...— забормотал он.— Плохо себя чувствую. Боюсь. Надо скорее чемодан.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал, и врал страшно неумело.

— Где вы живете?— спросил я.

— Не могу сказать.

— На чем вы ехали сюда?

— Машина.

— Какой марки?

— Марки?... Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик.— сказал я со злорадством.— Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит там.

— Хорошо,— сказал я и соскочил со стола.— Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина, марки "Москвич". Возьмем чемодан. Отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Вам не надо. Очень опасно.

— Ничего. Я рискну. Ну?

Он сидел неподвижно и молчал.

— Чего же вы сидите?— спросил я.— Ведь опасно, надо скорее.

— Не годится.— сказал он наконец.— Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте. А?

— То есть?— сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы даете мне чемодан.

Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите?— спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь?— спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег?— спросил я.

— Какая разница?— удивился он.— Все — ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то съезжались, то разъезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что,— сказал я.— Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик.. Вам остается одно: говорите все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги?— осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо,— сказал он.— А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое "конфисковал"?— сказал я.— Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я стреп деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдайте чемодан,— сказал Луарвик.— Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте,— напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать,— сказал я.— Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда приедет полиция, и вам все равно

придется рассказать правду... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал протокол. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за восемь лет беспорочной службы, — и подписал протокол.

Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите, — сказал я, протягивая ему авторучку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет, — сказал он. — Я пойду.

— Как хотите, — сказал я. — Вашего положения это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин. — Что ему было надо?

— Чемодан, — сказал я.

— Какой чемодан?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе... — Я достал ключ и открыл сейф. — Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история. Алек. — Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а протокол положил в карман.

— Кто же этот Луарвик? — задумчиво сказал хозяин. — Откуда у него столько денег?

— У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес, больше никому.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: "Кайса!" — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебрал в памяти самые мелкие незначительные происшествия, свидетелем которым я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече, Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней

вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клянула у своего дяди сигарету, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр, орудуя вилкой, элегантно отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедни. Во всей этой навозной куче я обнаружил две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал торжественной встречи, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колышется — надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания отнюдь не стремится афишировать, что она — одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены — явно подброшены, а потом снова изъяты — в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из баулов ловко превратился в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь о Брюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса: она видела только шубу Хинкуса, а кто был в этой шубе, неизвестно.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус, с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той от-

кровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису... И тут мне пришлось в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающийся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус.

Так я и сделаю, подумал я. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес, небось думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса. — Кушать, пожалуйста.

## Глава четырнадцатая

Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро, — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее, — буркнул он. — Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок, — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. — Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду, — сказал он. — Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце. — Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза... Шуба моя где, не знаете? И шапка...

— На крыше, наверное, — сказал я.

— На крыше... — пробурчал он, надевая подтяжки. — На крыше...

— Да,— сказал я.— Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать!— со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Я поздоровался с нею и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор,— сказал он.— Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина...— Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня.— Нашли?..— спросил он.

— Смотря что,— ответил я.

— Ага,— сказал он и неуверенно хохотнул.— Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин,— отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородно седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор,— нежно пропел он.— Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет,— буркнул чадо.

— Коньяку бы выпить,— сказал Симонэ с какой-то тоской.— Но ведь неприлично, а? Или ничего?

— Не знаю, право,— сказал Барнстокр.— Я бы не рискнул.

— А инспектор?— сказал Симонэ.

Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса.

— Жаль,— сказал Симонэ.— А то я бы выпил.

— А как наши дела, дорогой инспектор?— спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след,— сообщил я.— В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме, — сказал дю Барнстокр. — Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я. — Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся, — добавил Симонэ. — Обвал. Мы здесь заперты — и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа, — сказал он. — Давайте прогуляемся по дороге — посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет, — сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сэндвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голосом произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за свой кофе.

— Прелестное утро, — продолжала госпожа Мозес. — Так, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!

— Все там будем, — провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь, — вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.

— Доброе утро, господа, — произнес он. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в нашем гостеприимстве.



Судя по виду господина Луарвика Луарвика, постигшая его катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик!— прохрипел господин Мозес.— Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да,— сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симонэ.— Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик,— сказал Мозес.— Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец, появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было как раз наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса кровавым глазом, но — с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, иступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг, совершенно по-детски. А потом злобно оскалится и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус?— участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр.— Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую,— отвечствовал он, усаживаясь.— А вот каково вы себя чувствуете, а?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас... — Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. — Может быть, я как-то задел... затронул... В таком случае я приношу...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. — Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь... — Старый фокусник явно не знал, как себя вести. — Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, никак не более того...

— Ладно, ладно, замнем для ясности... — отвечал Хинкус.

Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены... События этой ночи...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю — да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа!— торжественно продолжал хозяин.— Все мыслимые и даже некоторые немислимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...

— Какой такой обвал?— громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами.— Что за чертовщина?

— Да, простите,— сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу.— Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь.

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу,— вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутые банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадёжное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневар и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно!— восхищенно воскликнула госпожа

Мозес.— Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы пойдем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа!— сказал он.— Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдете.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвик Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться впрок и надолго. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус?— сказал я.— Поговорим?

— Это насчет чего?— угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего,— сказал я.— Как видите, смотаться у вас не получится. И на крыше вам больше торчать незачем. Верно?

— Не о чем нам говорить,— сказал Хинкус мрачно.— Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу?— спросил я.

— Про убийство! По какому еще...

— Есть еще дело Хинкуса,— сказал я.— Вы кончили? Тогда пойдете. Вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек,— сказал я хозяину.— Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю,— сказал хозяин.— Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: "Сядьте". Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки...— проворчал он с горечью.

— Служба такая,— сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени.— Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло. Я его и знать не знаю.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я никому не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что написали ее именно вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале брякала тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку,— сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин!— гаркнул я.— Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт "д"! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну?— повторил я.

— Путаєте вы что-то,— ответил Хинкус.— Филин какой-то. Я не Филин, я — Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю, — угрюмо сказал он. — Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай, — сказал я. — Быстрее думай, а то поздно будет. Ты подсунул Барнстокру записку, а он отдал ее мне — этого ты конечно, никак не ожидал. Пистолет у тебя отобрали, а я его нашел. Ребятам своим ты дал телеграмму, а они не успели; потому что случился обвал. А полиция будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса, — сказал я. — Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло. На его лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин, — сказал я. — Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Напугал бедного старика до полусмерти... Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит! Так что теперь, Филин, тебе только одно и остается...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным

Змием, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор,— сказал он, сияя.— Еще секунду, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка,— сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив обломок кия на бильярд.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий ганмен в лучших чикагских традициях. И откуда, не понятно, они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его же озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось вполне понятными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался?— озабоченно сказал он.— Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было.

— Ничего, старина, все будут в порядке...— Я поднял руку, чтобы хлопнуть его по плечу, и застонал от боли.— Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти?— спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди!— с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно,— сказал я.— Мы его живо приведем в порядок. Только никому не говорите, что случилось.

Симонэ принес еще воды и початую бутылку коньяку. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого.

Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, предусмотрительно запасшийся вторым стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стенке, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку?— спросил я.

— Да...— сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй "д"?

— Там видно будет,— сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Wanted and listed?— сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь!..— сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку.— По-моему, там никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока не было,— напомнил я.

— Сейчас будет,— сказал Хинкус.— Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую "д" — обещаете?

— Ладно,— сказал я.— Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что?— спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!..

Он только глянул на меня своими желтенькими и заговорил:

— Значит, так,— начал он.— Меня намылил сюда



Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхали... Так вот в позапрошлый месяц откопал Чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю, и настоящего его имени я тоже не знаю. У нас его звали Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип... Сработал он нам всего два дела, но зато дела были для простого человека ну никак не подъемные, и сработал он их чисто, красиво... да вы и сами знаете. Второй Национальный банк — раз, броневи́к с золотыми слитками — два. Знакомые дела, шеф, а? То-то! Дела эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем, это вам самим хорошо известно. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать. Почему — это вопрос особый, но Вельзевул наш рванул когти, и нас намылили кого куда ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Ну, а в крайнем случае было велено кончать Вельзевула на месте. Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так,— сказал я.— Ну, а кто у нас здесь в отеле Вельзевул?

— Тут я, как вы правильно сказали, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь,— сказал я.— Фокусы — ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видал, и толстым, и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. Он — колдун, оборотень! У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес,— сказал я предостерегающе.

— Правильно,— согласился Хинкус.— Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба эта, с которой он разъезжает, кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом выворотила и несла по карнизу. Под мыш-

кой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять — ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи — во, метра два... да что там — метра три длиной...

— Филин,— сказал я строго.— Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Пускай я вру. Но вот я, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто?— спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня, гад, узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою бабу. Под моим же видом наслал...— В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас.— Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Три раза в отключку уходил, ей-богу... И, главное, пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Это надо же, — проник, значит, он, что у меня в черепушке не того, не все в порядке, наследственное это у меня, от папаши досталось. Тому, бывало, тоже всякое чудилось — как схватит ружье, как начнет палить... Вот Вельзевул и решил: либо с ума меня свести, либо запутать до потери сознания, чтобы я слинял у него с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя попросту не прихлопнул?— спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет, этого он не может. Ведь, если правду вам сказать, почему он завязал? Когда броневики драли, сами знаете, охрану нам пришлось убрать. Ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле... А у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать? Да упаси бог!

— Ну, допустим,— проговорил я неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус, как он и сам признался, был, несомненно психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это каким-то странным образом переплеталось с реальной действительностью. Сейф из Второго Национального и в самом деле исчез удивительно, загадочно и необъяснимо — "растворился в воздухе", разводили руками эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели как раз на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту машину набок... Черт его знает, как все это понимать.

— Ну, а серебряные пули? — на всякий случай спросил я. — Почему пистолет заряжен серебряными пулями?

— Потому и заряжен, — снисходительно пояснил Хинкус. — Свинцовой пулей оборотня не возьмешь. Чемпион с самого начала на всякий случай подготовил серебряные бананчики, подготовил и Вельзевулу показал: вот, мол, смерть-то твоя, имей, мол, в виду, не рыпайся.

— А почему же они остались в отеле? — сказал я. — Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю, — признался Хинкус. — Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, тоже не может через завал перебраться?.. Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета. Присобачил бы он ей вместо рук ковши, как у экскаватора, и готово дело...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну, — сказал я. — а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес

он, — есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных невежественных людей никаких законов и ограничений быть не должно. Но они есть... А как, собственно, был убит Олаф?

— Этого я не знаю, — решительно сказал Хинкус. — Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю. — Он прижал руку к сердцу. — Могу только сказать, что Олаф, — не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю — зачем... Тогда вообще получается, что Олаф не человек, а какая-нибудь погань, вроде самого Вельзевула... Я же говорю, нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так, — сказал Симонэ. — А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я, не скрываясь, наблюдал за Хинкусом. Хинкус дергался, ежился, бегал глазами и, наконец, умоляюще попросил еще глоточек. Ясно было, что все это ему внове, и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал.

Я хлебнул коньяку и угостил Хинкуса — оба мы чувствовали себя неважно. Не знаю, как я, а Хинкус был совсем зеленый и время от времени осторожно ощупывал голову. Потом я оставил физика размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Несмотря на свою зеленоватость, Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул хоть и колдун, но дурак. Всюду за собой таскает свой кованный сундук. Таких во всем свете больше ни у кого нет. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает... Сколько из кармана достанет, столько и платит. Такие люди, сами понимаете, нечасто попадают. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры. Не фокус. В общем, выследил я его, я свое

дело знаю... Ну, а что с Барнстокром осечка получилась — ничего не скажешь: напылил мне в глаза старикашка, чтоб ему пусто было. Леденцы эти его проклятые... А потом — захожу я в холл, сидит он там один, думает, что никто его не видит, и в руках у него куколка какая-то деревянная. Так что он с этой куколкой делал, господи!.. Да, осечка тут у меня вышла, конечно...

— И потом он все время с этой женщиной... — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Она не всегда при нем. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, а тоже вроде оборотня... Куда она девается, когда ее нет, этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, не молодой уже человек, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с полупомешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов... Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, и его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения перед моим носом. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал Хинкусу:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Какого однорукого?

— Ты сидел с ним рядом за столом.

— А, это который лимон жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал. Не приехал. Теперь-то я понимаю — лавина.

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Сами посудите, шеф. Полицию мне было дожидаться ни к чему. Я человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну кого надо, а сам подамся к завалу... либо сам как-нибудь

переберусь, либо Чемпион меня подберет. Чемпион ведь сейчас тоже не спит, не думайте. Самолеты не только у полиции есть...

— Сколько человек должно прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Ладно, вставай,— сказал я и не без труда поднялся сам.— Пойдем, я тебя запроу.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз, по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура,— строго сказал ей хозяин.— Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

Я осмотрел чулан, и он мне понравился. Дверь закрывалась снаружи висячим замком и была крепкая, надежная. Других выходов и даже окон в чулане не было.

— Будешь сидеть здесь,— сказал я Хинкусу на прощание,— пока полиция не прилетит. И не вздумай проявлять какую-нибудь активность — пристрелю на месте.

— Ну да!— заныл Хинкус.— Филина под замок, а этот ходит на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф. Несправедливо получается... И раненый я, башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы пошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле?— спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять?

— Н-да,— сказал я.— Тяжеловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я этого Чемпиона — сбросит с самолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает нас всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху,— сообщил хозяин, ловко обмывая мне лоб вокруг ссадины,— сюда ко мне появился

Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер, — и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы?— спросил я.

— Тут я немного промахнулся, — признался хозяин. — Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек, — сказал я с горечью. — Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично, — сказал он.

— Спасибо, — сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям, — сказал я. — Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль, — кротко заметил хозяин.

— Так стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводить здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так, — сказал я. — Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек... Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь самолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер?— сказал он. — Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит, — это чемодан...

— Понимаю, — сказал я. — Уж это-то я понимаю очень хорошо. И именно поэтому я буду спать здесь на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте все это ему слово в слово. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0.45. Идите и оставьте меня в покое.

## Глава пятнадцатая

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он наверняка растерялся и впопыхах вполне мог надеть глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять люгера.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте, инспектор.

— Что, самолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте. Сейчас не время спать.

Он был прав. Спать было не время. Хрустя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт



сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове.

Вид у Симонэ был непривычно торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то скрытое возбуждение.

— Ого!— сказал он.— Вы тут как в крепости. И совершенно напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю,— сказал я угрюмо.

— Да вы здесь ничего не знаете,— сказал Симонэ.— Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите?— произнес я язвительно.— Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился. Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?

— В этом нет никакой необходимости,— сказал он.— Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках,— попросил я, усаживаясь на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес — не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне.

— Они прибыли к нам с Венеры,— сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они — не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда, Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, ин-

спектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они их убьют.

— Нас тоже,— сказал я.

— Возможно,— согласился он.— Но это наше, земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор.

Я смотрел на него и уныло думал: нет, слишком много все-таки сумасшедших в этом отеле. Вот вам и еще один псих.

— Короче, что вам от меня надо?— спросил я.

— Отдайте им аккумулятор, Петер,— сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане — аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот, и госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались, так сказать, обесточены. Некоторые, наверное, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага,— сказал я.— Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите,— сказал Симонэ.— Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея...

— Ну ладно,— сказал я.— Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, вы должны понимать: если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят.

— Я ожидал этого возражения, Петер,— сказал Симонэ.— Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив...

— Не пойдет,— сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства. В чем дело?

Я взялся за свою бедную забинтованную голову.

Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. И Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит... И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. А в самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С Чемпионом шутки плохи. Дай бог, чтобы он согласился на переговоры...

— Ну, что же вы молчите?— сказал Симонэ.— Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый,— медленно проговорил я.— Я — полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено вокруг этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал... Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила... то есть ее руками уже совершено несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте,— сказал он.— Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию ведь рассчитывать не приходится, так? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста,— сказал я.— А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты!— сказал Симонэ.

— Они бандиты!— сказал я.— Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды Чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее двадцати

пяти лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти двадцать пять лет.

— Черт возьми,— сказал Симонэ.— Вы что, не понимаете? Его запутали! Его шантажом втянули в эту банду! У него не было никакого выхода!

— В этом будет разбираться суд,— сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, Глебски,— сказал он.— Не ожидал.

— Придержите язык,— сказал я.— Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт,— пробормотал он.— Вот тебе и встреча двух миров.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ,— сказал я зло.— И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно,— сказал я сухо.— Это мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... "Вам будет стыдно, Глебски"... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не разрешается, а пришельцам — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать? Того и гляди, начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный.

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алёк. Не мог запасться аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у

кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери, — сказал я. — Вон стул.

— Я могу и постоять, — пророкотал он, глядя на меня исподлюбья.

— Дело ваше, — сказал я. — Что вам нужно?

Все так же вызверясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он. — Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы не были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом, подошел к стулу и сел.

— Конечно мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. — Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется, и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного Филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил Чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещаю их немедленно — я готов вручить вам ассигнации государственного банка общей суммой на миллион крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил:

— Это вы изгадили мой стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы

поверили, чтобы заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано, — сказал я. — Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус — никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера.

— Да? — сказал Мозес. — Вот, значит, в чем дело... Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи... не для того я здесь...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул, — сказал я. — Ну, какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй. Богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И притом еще пьяница...

Мозес отхлебнул из кружки.

— И роботы ваши... — продолжал я. — Самка из светского салона... Спортсмен-викинг... Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?

— То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил Мозес. — Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники... — Он снова отхлебнул из кружки. — А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению — потому что тогда бы вы сразу поверили мне.

— Рискните, — сказал я. — Покажитесь. Я как-нибудь переживу.

Он покачал головой.

— Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете, — грустно сказал он. — А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас иначе совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я, наконец, рассвирепел.

— Куда отпущу?— заорал я.— Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать, говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет!— сказал Мозес.— Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор!

— И опять вранье!— сказал я.— Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой, так что затряслись землистые его щеки.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и телевизор... Это же принципиально разные системы...

— У вас на все готов ответ,— угрюмо сказал я.— Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции.— Я встал.— С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запираť вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так,— сказал он, помолчав.— Со мной вы решили. Пусть будет так.— Он отхлебнул из кружки.— Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть по крайней мере хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь — спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... может быть, его уже сцапали... да и самолет достать не так-то легко... Если

вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям, власти соберут экспертов, специалистов...

Он затряс щеками.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость и был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист. Конечно, он тоже мог быть сообщником, но... Настоящий уголовник никогда не предложит себя в заложники. Мозес предлагал. Ну хорошо, запереть Мозеса и... Что "и"? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат? Только то, что мне сказал Мозес. Да, все, что говорит Мозес, звучит правдоподобно. А если это просто удачная интерпретация совершенно иных обстоятельств? Если я просто не нашел вопроса, который бы разрушил эту удачную интерпретацию?..

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей впредь до выяснения обстоятельств. Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта или еще от чего-нибудь... Они хотят уйти.

Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...



— Что там у вас вышло с Чемпионом?— утрово спросил я.

Он исподлобья взглянул на меня, лицо его перекошилось. Потом он опустил глаза и стал рассказывать.

Если отвлечься от зомбизма-момбизма и всяких там псевдосвязок, это была совершенно банальная история вполне заурядного шантажа. Примерно два месяца назад господин Мозес, у которого были достаточно веские основания скрывать от официальных лиц не только свои истинные занятия, но и самый факт своего существования, начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Он попытался переменить местожительство. Это не помогло. Он попытался отпугнуть преследователей. Это тоже не помогло. В конце концов, как это всегда бывает, к нему явились и предложили любовную сделку. Он окажет посильное содействие в ограблении Второго Национального, ему заплатят за это молчанием. Разумеется, его заверили, что беспокоят его в первый и последний раз. Как водится, он отказывался. Как водится, они настаивали. Как водится, он в конце концов согласился.

Мозес утверждал, что иного выхода у него не было. Смерти как таковой он не боялся: они там все умеют преодолевать страх смерти. На этом этапе он мог даже не особенно опасаться попыток разоблачения: свернуть свои мастерские и остаться просто богатым бездельником ему ничего не стоило, а свидетельства агентов Чемпиона, пострадавших при столкновении с роботами, вряд ли были бы приняты всерьез. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить громадную работу, которая была успешно начата несколько лет назад. Короче говоря, он рискнул уступить Чемпиону, тем более что убытки, понесенные Вторым Национальным, ему не трудно было бы впоследствии возместить чистым золотом.

Дельце провернули, и Чемпион действительно исчез с горизонта. Впрочем всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз шла речь о броневику с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый Чемпион предъявил злосчастной жертве показания восьми свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс киноплёнку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления

банка, — не только три или четыре гангстера, готовых пойти на отсидку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и сам Мозес с неким аппаратом ("форсаж-генератором") в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его стороны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел.

Положение было ужасно. Отказ — означал преступление перед своими. Согласие — ничего не меняло в его положении, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла: он уже убедился, что рука у Чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с Земли он тоже не мог: подготовка транспорта требовала десяти-двенадцати земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление — теперь это означало только увеличение долга, лишние триста тридцать пять килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру Чемпиона своим двойником. Он знал, что за ним будет погоня, он знал, что Хинкусы рано или поздно нападут на его след, — он только надеялся, что ему удастся опередить их...

— Вы можете верить или не верить, инспектор, — закончил Мозес. — Но я хочу, чтобы вы поняли: есть всего две возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и тогда мы попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае, все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо... — Он отхлебнул из кружки. — Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но я ведь первый, а не последний наблюдатель на вашей Земле. Это вы понимаете, инспектор?

Я понимал только одно: дело мое дрянь.

— Чем вы, собственно, здесь занимаетесь? — спросил я.

Мозес покачал головой.

— Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта. Я его готовил. А конкретно... Да это к тому же и очень сложно, инспектор. Вы ведь не специалист.

— Идите, — сказал я. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно охлаждал правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Я был жалок. Я ненавидел себя. Я ненавидел Згута с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь. Верить или не верить... В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду. Но ведь люди же, люди! А если я поверил, то они для меня уже не люди!.. Да я просто не имею права верить. Это просто самоубийство — верить! Это значит — взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которой я не хочу, не хочу, не хочу... Она раздавит меня, как клопа! Ладно, Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я тоже не выпущу! Пусть будет что будет, а тайна Второго Национального и тайна золотого броневика раскрыты. Вот так-то. А если здесь замешана межпланетная политика, так я — простой полицейский, пусть политикой занимается тот, кому это положено... В обморок бы сейчас брякнуться, подумал я с тоской. И пусть делают, что хотят...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной чашку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалился. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажитесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и

поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте вы от меня. Все вы болтуны. Алек заботится только о своем заведении, а вы, Симонэ, просто интеллеktуал на отдыхе...

— А вы-то? — сказал Симонэ. — Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?

— Да, — холодно сказал я. — Бляху. Люблю, знаете ли, бляхи.

— Вы мелкая полицейская сошка, — сказал Симонэ. — В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. Звездный час инспектора Глебски! В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть на минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть они пришельцы. Пусть они жертвы шантажа. Великий контакт... — Я вяло помахал рукой с люгером. — Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось?.. Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симонэ, как землянин, что вы думаете о своем долге?

Симонэ молча шерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там на снегу, она прямо готовая мишень... Меня она не слушает...

Я положил люгер на стол, взял чашку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего,— ласково сказал хозяин.— Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман.

— Предатели!..— сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер,— сказал хозяин.— Надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя с боку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер,— проговорил он,— на вас лица нет...

— Бандиты...— прохрипел я.— Арестанты...

— Да, да, конечно,— покорно согласился хозяин.— Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом доньшке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне есть,— сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрепало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук,— произнес он сдавленным голосом.— Опять они мне косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин сутился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин бормотал: "Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом..." Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я снова отпихнул его здоровым плечом и сказал: "Убирайтесь к черту, слышите?.." Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они!..— завопил кто-то.— Поздно! Будь оно все проклято, поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали; что-то упало, покатилося, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на

белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом неся Олаф с Луарвиком на спине. Билась по ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: "Видишь? Видишь? Видишь?.." А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас и тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал мне: "Добился! Добился своего, дубина, убийца!.."

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

## Эпилог

С тех пор прошло более двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно

отбывают домой в своей прекрасной сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подроспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, однако вертолет Чемпиона, забравший все трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом. Симонэ считал, что один из роботов, уже в вертолете, очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось, что он и в самом деле был крупным физиком, но это несколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог, ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-моему, не получил. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строч-



ки. Комиссии распадались, снова возникали, то объединялись с Обществом исследования летающих тарелок, то отмежевывались от него, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании "присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхилд Канн с супругом, известным космонавтом Перри Канном". Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошение об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, ни оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель "У межзвездного Зомби" процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и совсем мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Диплом на изобретение он дер-

жит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не запущены; впрочем, дело за деталями. Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он шепотом признался мне, что постоянно держит теперь в подвале пулемет Брена — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами, я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, только начальник статского управления слегка побранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергнул свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я только и мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете много не было. Как можно было описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при простуде у меня понимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згугу я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал мне односложно и только однажды, пряча глаза,

признался, что тогда его больше всего интересовала целостность отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел о своем признании. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представил своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Они, бедняги, попались как кур в ощи́п, и обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало бы встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией... Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

Совесть у меня болит, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было: поступал правильно, чист перед богом, законом и людьми, а совесть болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что никогда не помогут они мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас. Даже сейчас и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя: а правду ли они говорят, не скрывают ли чего-нибудь, не таится ли в них появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внуки...

Когда мне становится совсем уж плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

## КОНЕЦ

*Январь 1969 — апрель 1969*

# **ХРОМАЯ СУДЬБА**

## 1. Феликс Сорокин. Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев, и щетинистые пятна, и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало. Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки "типпа" с заедающей от рождения буквой "з", и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается: "...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф,

командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело шелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек".

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П.В.Макаров. "Адъютант генерала Май-Маевского". По этой книге недавно снят был телевизионный сериал "Адъютант Его превосходительства", картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно,

значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: "Дорогому товарищу А.Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского, зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П.В.Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград". Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбили, и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре тома "Тарзана" на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; "Машина времени" и сборник рассказов Уэллса из приложения ко "Всемирному следопыту" с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект "Вокруг света" за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И конечно же ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груде агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.



...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазы, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная "История Японии" на английском языке, "История сыска в эпоху Мэйдзи"... а-а, все равно, ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

"На палубе "Коньэй-мару" было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой".

(Тут ценно как можно чаще повторять "были", "был", "было". Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

"Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. "Сэнте, выходи", — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. "Спроси его, знает ли он, что

забрался в наши воды", — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил; что не знает. "Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен", — приказал майор". (Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...) "Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. "Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду", — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. "Что он говорит?" — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо "ки" говорил "кси", вместо "цу" говорил "ту", понять его было очень трудно..."

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутікана и "Человек-тень" Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. "Человек-тень" — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил что-то обещанное, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу

гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теребит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь стран-

ным каким-то образом не на Банной, а наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из "Зарубежного инвалида", куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из "Инвалида" мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан "Псков". Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к "стенке", к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени, Кряхтя. "Упанишады", кажется. А может быть, и не совсем "Упанишады". Или не "Упанишады" вовсе.)

Кряхтя я откинул створку покоевого шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: "Сэйнэн дзидай-но саку" — "Творения юношеских лет". В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шер-

шавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

"Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь..."

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

"— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые..."

Да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

"Крепость пала, но гарнизон победил".

Так.

"— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху..."

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, "Сталки и компания". Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

Кроличьи Яйца — Rabbit's Eggs. И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал "Rabbit's Balls". Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и "Случай в карауле". Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

"Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось..." — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдох-

новенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном "Случае в карауле" было вот что:

"Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?"

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда "Суворовский натиск", дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что "Случай в карауле" не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли "Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!". Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой "Случай в карауле" на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: "Случай в карауле" или просто кресло с человеческой развалиной.

Я отложил "Творения юношеских лет" в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: "Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы".

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ

"Нарцисс", написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Картсэ-Шануа, "полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет", а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда "взгляд его был полон желаний, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви". И поскольку "воле Шуа дю Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю Гюрзель", бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: "К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе".

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои "Современные сказки" полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего "Нарцисса". Во-первых, потому что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа "Товарищи офицеры" и пьесы "Равнение на середину!", не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантазмагии.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. "Корягины". "Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый., около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии... Действие происходит в Москве, в наши дни.

АНЯ: Слушай, можно задать тебе один вопрос?

НИКОЛАЙ: Попробуй.

АНЯ: А ты не обидишься?

НИКОЛАЙ: Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

АНЯ: Да. Почему ты с нею развелся?"

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся записывать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: "Вот где ты, голубушка!" — потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть "Железная семья" — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

"2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140..."

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропась. Впрочем, 7.04. странная запись: "Писал жалобу в правительствующий сенат". И еще: 19.04. "Омерзительный, как окуроч в писсуаре". И 3.05: "Ничто так не взрослит, как предательство".

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

"21 мая 72 года. "История про новосела-рабочего. У



него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик зажег палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя".

Это еще не "Современные сказки:", до "Современных сказок" было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовый? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

"28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса". В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. "Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения". Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: "Не работал, страдаю брюхом", а третьего — короткая запись: "Вполсвиста".

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей. "Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет".

"Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий".

"Против кого дружите?"

"Ректальная литература".

"Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин".

"Гнал спирт из ногтей алкоголиков".

А это опять для "Современных сказок":

"Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает "Кубические формы" Ю.Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Святича. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: "Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание".

Еще фразы:

"Путал сентименталов с симменталами".

"Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглички говорит..."

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинаю мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейшие разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: "Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.". А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

"...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом.

Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых..."

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закуске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: "Приходите, Клавочка, почаще" — а она ответила: "А вы пишите побольше".

Кроме денег, оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-белосиним бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. "Господину Фериксу Арександровичу Сорокину". Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

"Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Если вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской

деригации писателей, вы сидели рядом и любезно пода-рили мне вашу книгу "Современные сказки". Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство "Хаякава" и журнал "Эс-Эф магазин", но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением" (подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто тассимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные

риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: "Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?" Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора "Товарищей офицеров" и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя "Современных сказок". И неоднократно мне даже присылали записки: "Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего "Современные сказки"?"

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснять, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: "хватить шилом патоки", "цвести, как майская роза", "иметь попсовый вид", "полные штаны удовольствия", "тяпнуть по маленькой" и "залить zenки"... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что "банан" на жаргоне школьников означает "двойку как отметку, в скобках — оценку", а "забойный" означает всего-навсего "сногсшибательный" в смысле "великолепный". А вот как быть с выражением "фиг тебе"? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова "фиг тебе" означают "подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу". А во-вторых, фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я

встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на "молниях", сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутойярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: "Как дела?"

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Леня.

— Леня, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может

быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Леня. — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Леня грустно. — Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбежал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяка и бутылку "Салюта".

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной

ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиною, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутойрскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы "Прогресс"; мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи выюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает выюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку



папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

Я в третьем круге, там, где дождь струится...

.....  
Хотя проклятым людям, здесь живущим,  
К прямому совершенству не прийти,  
Их ждет полное бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фотопропродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черносерые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незванный гость на этих улицах, и дождь его не жалуется.

У меня их здесь десять тысяч человек в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков. Детей. И неопишное наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта опреде-

ленность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

## 2. Банев. В кругу семьи и друзей

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Преодолевая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно,

что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там,— говорила Лола.— Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она — знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все, как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать,— говорила Лола,— что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают.— Она уже успокоилась, красные пятна пропали.— Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы,— это самые лучшие дети. И потом, она

мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусенько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь

бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола, — сказал Виктор морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну, вот что, — сказал Виктор. — Ссориться с тобой я не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: "Прошу никогда не закрывать окно". Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его

неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыв дверь.

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые, наконец, наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по будыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рывкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — "мокрец", или "очкарик", как их звали за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор. — Хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову,— сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось.— Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими.— Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? — подумал он.— Да ведь как ловко...

— Вы наступили себе на плащ,— сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага,— сказал он.— Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор.— Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу,— сказал Бол-Кунац.— Куда вам лучше идти? Домой?

— погоди,— сказал Виктор.— Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили,— сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной:

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут за углом...



— Ничего не понимаю,— сказал Виктор.— Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет,— ответил Бол-Кунац, подумав.— По-моему, они все были без очков.

— О, господи,— сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку.— Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю,— сдержанно произнес Бол-Кунац.— По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился.— Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац.— Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем,— помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном.— Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно,— сказал он и двинулся дальше.— Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать,— самым доверительным тоном сообщил ему Виктор,— что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно,— заметил Бол-Кунац,— менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно,— продолжал между тем Бол-Кунац. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да,— сказал Виктор. — Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать,— рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным "а-а", но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие — торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины, и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пят. И над всем этим сквозь

дождь сияли золотые и синие заклинания: "Президент — отец народа", "Легионер Свободы — верный сын Президента", "Армия — наша грозная слава..."

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе насадало сегодня... в предвкушении Юла Голема и доктора Р.Квадриги... и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет... и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане...

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. "Ты зачем сюда вперся?" — шипел швейцар. "У меня разговор с господином Баневым". — "Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. —

Шляешься по ресторанам..." — "У меня разговор с господином Баневым, — повторял Бол-Кунац. — Ресторан меня не интересует". — "Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну..." Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй, — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: "Не знаю". Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. "Вот тебе", — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор.

— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я, — он осушил стакан. — Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг: вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомним, — сказал Бол-Кунац. — А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— погоди, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джингу и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее...

Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?... Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в "Жареном Пегасе" — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета — я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...

И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... "Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей..." Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, — а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволил взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок

в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что "беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы".

Странно, как хорошо я все это помню... Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, отчего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но — для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет этому некрасивому, но мужественному лицу, — я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор. — Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные, — возразил Виктор, — когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер,— сказал он.— Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тиной воняет,— с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса.— Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем.— Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р. Квадрига.— Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо — многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом, никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман,— грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига.— Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор,— сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом,— произнес доктор Р. Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.



— Пока ни с кем,— ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь,— сказал он ровным голосом.— За городом грязь, весь в дерьме.— И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором,— произнес Голем. Он шелчком сбросил со стола мятую салфетку.— Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

— Вам лучше знать,— сказал Виктор.— Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает,— возразил Голем.— Некоторые догадываются. Очень немногие — те, кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем,— сказал Виктор,— вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим,— сказал Виктор.— Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело,— сказал Голем, наливая себе из графинчика.— Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню,— сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига.— Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню,— сказал он Виктору.— Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем,— небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульптор?

— Нет. Врач.

— Хирург?

— Я главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой. — Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представляю. Такие люди нам нужны... Простите, — сказал он неожиданно. — Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать, и падать, и падать...

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, Апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у

Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сообщил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем, — сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор, — эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, — когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У военных только рефлексy и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор. — Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливают горы и равнину, и когда-нибудь

он все это смое, но это случится еще очень нескоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится нескоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В двѐрях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему — нет? — сказал Павор. — Как же их, по-вашему, называть?

— Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый — вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что, — брюзгливо сказал он еще издали. — Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал Р. Квадрига, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... — Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. — Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него

снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм,— продолжал Виктор.— Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубить эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор,— сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же,— сказал Голем.— Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... — А чего я, собственно, стою? — подумал Виктор и сел. — Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы,— сказал Голем.— А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дура-

ки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто неизвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробыло девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым

— нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джинну. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор уклончиво. — А еще что?

— Подвал, — печально сказал Р. Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари, — предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко, — сказал он.

— Скупердяй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р. Квадрига. — И никто.

— А господин президент? — агрессивно спросил Виктор.

— "Президент — отец народа", — оживляясь, сказал Р. Квадрига. — Эскиз в золотистых тонах... "Президент на позициях". Фрагмент картины: "Президент на обстреливаемых позициях".

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— "Президент с плащом", — сказал Р. Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему еще очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что там на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал "погодник". Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволу.

— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая "погодник". — Дьявольская выдумка. — Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару, — предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно, — сказал он. — Господин это ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал. — Тэдди повертел "погодник", поднес его к правому глазу. — Не отдам, — заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. — Он сунул "погодник" под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону,



он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р. Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разоб-  
брать.

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крикнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все также неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столу. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил: "Легион Свободы — опора президента". Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревос-

ходительства ... "Президент — отец детей". Аллегорическая картина..."

— Я пошел,— сказал Виктор.

— Жаль,— сказал Голем.— Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу,— сказал Павор, подмигнув.

— "Член парламента Росшепер Нант",— оживился Р. Квадрига.— Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: "Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю..." В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды "Братья по разуму". Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий,— проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь,— равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко.— Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути,— сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ошупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем "Братья по разуму". В тумане, словно сквозь вату,

слышались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощутью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто, тряся жирным задом, не бегал в пятнашки, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно

жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской росшеперовской кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуды, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреновом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Перед ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчиганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! И-го-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полузнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно,

все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто он ждет, когда дадут занавес и погасят огни... И даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распахивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: "Писателю Баневу — ура!" Замолкшая на секунду радиолоа снова залаяла и залягала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я с тобой.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали; кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал где-то неподалеку: "О мой бедный пьяный народ!"

- Он импотент?
- Еще бы. Я его мою.
- И как?
- Абсолютно.
- О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.
- Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: "Потом, потом", — и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри... и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно... и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

- Это надолго? — спросил он.
- Что? — спросила Диана сонно.
- Долго они будут выть?
- Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

- Не спи, — сказал он.
- Угу, — пробормотала она.
- Тебе хорошо?
- Угу.
- А если за ухо?
- Угу... Отстань, больно.
- Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?
- Можно.
- А где?
- Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он

пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабаk и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицеймейстера. — Нет такого закона...

— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные, — проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр. — Чтобы р-разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет?

Чем бы их садануть? — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицеймейстер. — Ты мне друг?

Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шлятся, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую, — сказал полицмейстер.

— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тоже...

— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: "Эй, гимназия, застегнуться забыл!" — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашлялась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнула где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся набок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану



и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет,— сказала она.— Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет,— сказал Виктор.— По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся,— сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов, — сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати?..

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. — На, — сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался — спортивный мелкокалиберный. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны, — сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Станные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыльцо, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы

пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял,— покорно сказал Виктор.— Шаг влево, шаг вправо — считается побег...

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: "Смотри под ноги... Держись за мной". Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи,— сказала Диана перехваченным голосом.— Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: "Скорее, Виктор",— и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. "Дурак! — крикнула Диана.— Пистолетом!" Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. "Тащи",— хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. "Подержи фонарик",— сказала Диана. "Не могу,— виновато сказал Виктор.— Попался. Возьми у меня из кармана

пистолет..." Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик,— повторила она.— Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена,— сказал из темноты напряженный голос.— Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно,— сказала Диана.— Сейчас. Виктор, давай мне фонарик, а сам возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же,— нетерпеливо сказала Диана.— На спину.

— Сейчас,— отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу.— Сейчас... — Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной.— Обнимите меня за шею,— сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль,— ответила Диана.

— Не надо,— тем же напряженным голосом произнес мокрец.— Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь,— возразил Виктор.

— Перестаньте болтать,— сказал мокрец.— Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его,— сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь,— сказал он.

— Не будьте дураком,— проговорил мокрец.— Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин,— тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван,— сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав.— Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили,— сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня,— сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно отпустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня называли дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него теперь страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директо-

ру гимназии. Даже Лоле, — вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток джину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо вышла Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. "Тебе помочь?" — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: "Подожди, не уходи".

— Я не уйду, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не уйду, — повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбежать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал он из темноты.— Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: "Шесть углов на шее..." Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет,— ответила Диана.— Позвонить?

— Теперь уж не стоит,— сказал Голем,— а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем,— сказала Диана.

— Поплывем,— сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего,— сказала она.— Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки,— сердито пожаловался Виктор.— И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор.— Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть,— сказала Диана.— В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла и зажег свет.

— Подожди,— сказал Виктор озираясь.— Куда ты меня привела?

— Это лаборатория,— ответила Диана.— Я сейчас.

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами на полу темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда не поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас, — сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот, — сказала Диана. — Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж... Бывший муж.

### 3. Феликс Сорокин. Приключение

С вечера я не принял сутак, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сутак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, "Салюта" на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи пола-



гают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же тут же позвонила Катька и конечно же озабоченно, однако не без яду, осведомилась: "Опять сосуды расширял?" И конечно же опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесте за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: "Это не по ним, это по их товарищам справа..." И сначала все пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: "А Комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно".

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед.

Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий "тигр". Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. "В движение мельник должен жить..." — бормотал я, с кряхтением натягивая башмаки. "Вода примером служит нам!.." — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу "Корягины". Я отгонял страх. "В крайнем случае отдам аванс!" — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута, и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. "Ну вот, опять", — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был

раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказывал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: "М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин". То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. ("Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все

равно, пусть даст... Помру иначе...") Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной "беломориной" в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У "неотложки" мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталаный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать — ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нём никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуоб-

морочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рывтинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасти совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечест-

венным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси прямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопить себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и кланяться. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему. И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон скорее всего у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, где положено, змеились зеленые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов — Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не



говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хотя что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру! — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вихровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Неглядя на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и

особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передраг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, маслено поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемежку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?... нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками "ади-дас" нависают надо мною, а в просвет между ними установились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с

одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки, — средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на "Кропоткинской", и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: "Свой, свой, Марья Трофимовна!" — и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы

сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллин. Видны на урожай на юге хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием "Дыра во Вселенной", а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: "Ничего, выплывет, дерьмо не тонет". Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: "Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая..." А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: "Ну, и что же ты?" — "А что я? — агрессивно произнес Жора. — Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног..." — "Но потом, — сказал Гарик, — когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?" — "А как же! Даже стихи мне посвятил. В "Литературке". На манер Пушкина, про лицейскую дружбу..." — "Пожалуй, будь себе татарин?.." — ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС10-20, а может быть, и вовсе какой-нибудь "Минск" поплоше. Сидит тунядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гирш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеда, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные

пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами "жопа", а на бумаге выходит: "окорока", "пятая точка", "афедрон" и уж в самом крайнем случае "ж" с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валею и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он расpiraем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматии пять страниц из "Тихого Дона"! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка — что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком,

зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: "Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?"

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! "Изпитал"! "Измеритель писательского таланта". Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть "Мензурю Зоили" Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— "С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, — всем им теперь крышка!"

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно, — сказал я. — А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то... — промямлил я. — Завтра, пожалуй, в это время.

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил — непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬ-НО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно... — сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут — я не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случилось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутойрский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова,



уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. — Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из фужеров.

— Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здоровой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счета. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не

годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши все и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы он расплатился за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке возглашал стихи диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навытяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, — выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеванный, похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашения подсесть, потому что двигался к

столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание, растекалась, спустившись, между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, группа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тубетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь была ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан — манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься? — сказал я наконец уже в коридоре.

— Пойдем присядем, — пригласил он. — Вон там, скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится: "Надо же, животное — а ведь чувствует!" И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно? — спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание — желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают... Веришь, у меня глаза на лоб полезли, в пору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу: как его рвало и как его несло, и так далее. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришлось в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — Я растерялся. — Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак... — уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело, — сказал я и, не удержавшись, добавил:

— Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего! — произнес он, делая легкомысленный жест. — Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут,

и мы с тобой еще посидим. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдаль, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай, — сказал я решительно. — Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно! — воскликнул он. — Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полупшепотом:

— Ты чего?

Это опять был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно: — Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди, — пробормотал Костя. — Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я.

— Насчет чего? — спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал? — спросил Костя, и глаза его снова заматались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно, — сказал я, махнув рукой. — Не поняли так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и брызгаясь прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака, Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Постой, да ты что? — пробормотал я, пытаюсь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы заостреневшие. — Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал наконец от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: — Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сиплю дыша друг другу в лицо.

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: "Не было ничего, понял? Не было!.." — а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали заме-

чание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. — Ну чего ты дергаешься? Ну какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну не было так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплунуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: "О себе подумай! Сорокин! Серьезно тебе говорю!" Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к конячку моему и к Синей Папке!

В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая борода, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, — сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

#### 4. Банев. Вундеркинды

— Давно я вас не видел в городе,— сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно,— возразил Виктор.— Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь,— вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: "Официант, двойной коньяк!" Смеркалось, швейцар задерживал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь,— обратился Павор к Диане.— Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица... — Он чихнул.— Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха,— сказал Виктор.— Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так,— сказал Павор.— А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от пострадавшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается,— резко сказала Диана.

— Конечно,— сказал Павор.— Я просто удивился... —



Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался. — Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положила ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно.

— До свидания,— сказал Павор, поднимаясь.— Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный,— сказала Диана.

— Да,— согласился Виктор.— Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет,— сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно почему?

— Морда у него мерзкая,— ответила Диана.— Белокурая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на,— удивился Виктор.— А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин,— возразила Диана.— Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь,— заметил Виктор.— Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно,— сказал Виктор.— Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу

стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. "Привет Диане! — заорал он. — Как жизнь?" Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. — Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Сколькие глупые медузы. Копоятся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то, признать-ся, уже навоз на зубах.

— А что делают с медузами?  
— Кто? Медузы?  
— Мы.  
— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательно письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это все?

— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди, — сказал Виктор, — но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра?

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с черной повязкой через лицо.

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразила, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко.

— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокроцу равнодушной улыбкой. Все стало, как обычно, — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р. Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока, — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобой... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия Банев, — представился Виктор и

спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец холодно.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзмансору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там, — словом, племянничек. Виктор глядел на него не больше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этаким юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: "Что это такое у вас?" И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным паль-

цем. "Э!" — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: "Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло..." Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке, — черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастьми. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации, — только один из них применял бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылкой в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылкой, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга

удальими возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетали наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буяннить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне?

Виктор щупал распухшее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным, интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. "Жалко, этого с нами не было, — шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?" — "Понял", — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцей пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурз-



мансор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил вполголоса, после чего Голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы с тобой били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизни ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет, — ответил швейцар. — Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р. Квадриге, которого обычно не жаловала. Перед Р. Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо, — сказал Р. Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушинный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своею, —

сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим, — мрачно сказал Р. Квадрига и налил себе полный стакан рома.

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р. Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы, — поспешно сказал ему Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Оставь, — сказал Р. Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья мои сидят без права переписки, а новые — неграмотны...

— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром как остывший чай.

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Потрудитесь скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо! — сказал Виктор, и Р. Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он жалобно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похва-

лит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — "Президент и Вечно Юная Нация"...

— Дурак, — грустно сказал доктор Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак, — сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника...

— Моя задница, — объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки... И все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами. — Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут, — произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза...

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк "до первой крови", изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные окрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбита штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки "в фонд Легиона", бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах, — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только — обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожеления, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожеление, энтузиазм... Плохо дело, думал он. А вдруг через пятнадцать

лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничтожаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац прыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые

предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть... — Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: "Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл." — Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами, как с равными, и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак. Все ли читатели мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: "Нет", — и снова сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше

было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмандор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмандором? — спросили из зала.

— Нет, это я шучу, — сказал Виктор. — Так что мы решим насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как тут не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главное физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести "Беда приходит ночью".

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крикнул. "Беда" могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим общественную мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор "Беды" считает солдата

"главнее" физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том,— сказал Виктор проникновенно,— что... как бы тебе сказать... всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию,— возразил белокрысы клоп.— Я говорю об общей концепции книги. Может быть, "главнее" не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию,— сказал Виктор.— Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: "Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?" и "Что такое умный человек?" Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек,— сказал он,— это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет,— сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да-а, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы,— сказал он, неожиданно для себя переходя на "вы".— Но дело в том, что вообще-то "дурак" и "умный" — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же,— сказал Виктор.— Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения.— Или инакочувствующий,— добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего,



соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю,— произнесла хорошенькая девочка.— Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли,— сказал он,— под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывают жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой.

Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть на-счет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем!.. — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками "плохо" и "хорошо". Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы — не взрослые еще. Я понимаю, это непедагогично — так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга.

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось, и теперь

можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс,— сказал он,— это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис,— пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор.— История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне,— сказал Бол-Кунац.— Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю,— сказал Виктор.— Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете,— сказал он,— я его как-то плохо себе

представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там ни за чем не нужна, командовать нечем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил:

— Вот в этом все дело... Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью "за", — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: "Правда и ложь, вы не так уж не схожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду..." Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да

попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого только вы не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил "вы", я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на "рейнметаллы" в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень

здорово, и если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имеете в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспособливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином и в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы

даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да,— сказал он.— Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир,— загадочно сказал Бол-Кунац,— нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше,— сказал Виктор устало.— Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчишки и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаянием. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: "Что такое факт?", "Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?", "Почему вы так много пьете?", "Ваше мнение о Шпенглере?"...

— Тут у меня несколько вопросов,— сказал он.— Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: "Спасибо... Спасибо, господин Банев", стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид

имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он написал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: "Автограф, пожалуйста!" Они пищали: "Вот здесь, пожалуйста!" Они сипели ломающимися голосами: "Будьте добры, господин Банев!"

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по



лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, Боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, Боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он.— Фантазия разыгралась... Ну дети, ну акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом,— всё-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так,— значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает:

ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе джинну и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завыл от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что чего там, и так сойдет — а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, как будто учиненное сегодня над ним плюходействие было величайшим триумфом в его жизни, или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: "Да!" — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, расстроенный, с распухшим носом.

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хлюпая и всхлипывая. — Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы, — сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты... "Посетите наш солнечный город". У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли, — сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? "Смерть после полудня"? "Полночь после смерти"? Не помню...

— "Беда приходит в полночь", — сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету, — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше Джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слышал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю,

о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь не при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают во-время расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. — У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну, ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово выпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса... Адское, какое-то болезненное, несоответствие... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— Что же, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шлятся к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала

родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более, что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. И теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев.

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни, — туманно сказал он. — Трепотня пополам с истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он. — Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают,

и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— Имеющий глаза да видит, — говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике, — он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

Нет, это все-таки не президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если

бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погода, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, все в санаторий... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. — У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм... — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. — Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?



— Насколько я знаю,— сказал Голем, отхлебнув из стакана,— мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием "злой волчок"?

— Ну, конечно,— сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была... — Виктор замолчал. — Да, действительно,— сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И "погодник", и "деревянную руку"...

— Пардон,— сказал Павор. — Можно узнать мне, пришлецу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя,— сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю,— сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди "погодник" и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту,— сказал Павор капризно. — Я не про "погодник"...

— Погодите, Павор,— нетерпеливо сказал Виктор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А вы разве не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке,— сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.

— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали нустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи "Братья по разуму" упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: "Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?" Я, естественно, ответил утвердительно. "Тогда перестаньте бренчать!" — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем усмехнулся.

— А чем вы, собственно бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом вовсе не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят "шпик". Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят "дятел".

— Не ощущаю разницы, — сказал Голем.

— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четыре, — сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. — Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажала в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха, ха, ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да,— сказал Виктор.— Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А-ля гаммельнский крысолов? — спросил Голем.

— Да,— легкомысленно подтвердил Виктор.— Именно а-ля.— Потом он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоловом.— Ничего забавного тут нет,— сказал он.— Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятшек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь,— сказал Голем.— Понятно. А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Н-да,— вздохнул Виктор.— Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте бренчать,— сказал Голем.

— Как угодно,— сказал Виктор.— Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем.— И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: "ЛЕПРО-ЗОРЬИ — 6 км" и "САН. "ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ" — 2,5 км". Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка остановитесь,— сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с

ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнувшихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — В потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: "Это мой отец", и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоём месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь, — сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал.

— Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. "Произнеся эти слова, — с отвращением подумал он, — граф с достоинством удалился..."

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье,

отжимала косички. Виктор пролез назад, побряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний, — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасти, вырвать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу, — сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо смотрел за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. — Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А,

черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман, — ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман, — повторила Ирма.

— Про туман, — поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол, — объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, — неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости, — сказал Голем.

— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро, — сказал Голем.

— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также его нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим, — сказал он. — Глагол "думать"

выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело,— возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделием поглядел на горлышко фляги.

— Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает,— признался Виктор.

— Надо выпить джину,— заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть,— сказал Голем.— Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме; лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: "Деточка, хочешь, я тебе отдамся?" Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря,— не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятьями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. "Виктуар! — присипел он.— Др-руг! — Тут



он заметил Ирму и пришел в восторг. — Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!.." Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. "Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!" — "Диана! — рывкнул Виктор. — Открывай!" Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи, — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебя прошу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

## 5. Феликс Сорокин. "...и животноводство!"

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто

знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левее предплечья, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бачком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами, вроде: "Ни кадра на родной земле" или "Сойдет за мировоззрение"... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед

известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался и никогда теперь уже не стану никем другим, напиши я еще хоть сто "Современных сказок", потому что откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, — тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она ни была, это моя слава. Деньги добывать проще халтурою, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель. Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого не заметит. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф А? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о

Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по "Войне и миру". Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и победил он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта — такая простенькая и такая мертвящая — мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и, только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты государство или построил дачу из ворованного матерьяла — к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным уопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибегал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, — пусть даже небольшой, местного значения, —

вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться, и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека одновременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазы Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умирительное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно: наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И водочка под соленые грузди в Клубе... Банально, я понимаю, — водочка, так ведь и все радости банальны! А безответственный, вполпьяна, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку на лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает...

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я не вставая сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), кряхтя поднялся и нашарил ногами тапочки. Проце-

дура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь на лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово, — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. — Как дела?

— Охайо, — отозвался я. — Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу, — сказал я с готовностью. — Эврисинг из о'кей.

— Так бы сразу и сказал. — Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я наконец сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

— М-мать... — сказал я. — Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто, кто из писателей женат более трех раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд.

— Слушай, — сказал я. — Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустоличьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта; и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня, — сказал я решительно. — Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Барина. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по нескольку слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не поленился и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь наконец что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: "она тронула его руку" или "она притронулась к его руке"... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демчен-

ко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: "Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги..." И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что, прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете, понял бы и принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, — про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести — все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и невыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной



халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы недо-выполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. "Молодая пешеход добежал до переход..."

У меня вот в "Товарищах офицерах" любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди,

если на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу?  
— произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: "А, сойдет за мировоззрение!" А что касается другого его афоризма — "Ни кадра на родной земле", — то пусть-ка он попробует отснять кадры танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса; потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбаннфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хор-р-рошая танковая атака, желательно массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запарке, и в телефонную трубку не сказал я, а рывкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему конфуцианские принципы, немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин, — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала "Станкостроитель". Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню "Медвежьи хлопоты". Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала "Геймланд" он прочитал повесть "Поезд надежды", переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни "Медвежьи хлопоты"! Пораженный, он предпринял самостоятельное

расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, совершив плагиат, написал повесть на русском, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярек осуществил якобы его прикомандированный к постели друг и т.д., и т.д., и т.п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т.д., и т.д., и т.п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волоочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение — товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня не убедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченко удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь на лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и убогоблаженным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен, и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет, пришло мне два письма. Одно официаль-

ное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катке — может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением "лично, в собственные руки!" написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят не часто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость, или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: "Чур меня, чур!" Общий пафос докладчика: "Где же здесь литература?" Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТС (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеевич... Сортир Сортирыч... Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с единственным "за".

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше дело. Докладчик с неспящими

глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг — тигр (Рязанская область, село Мясное). Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносит повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преобразуются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех "за". Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет мне: "Ну, не знаю. Я как был "за", так и голосовал "за"..."

Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде "Развития прачечного дела от царицы Тамары до наших дней".

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как вчера — на Банной был?

— Да, — сказал я. — А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и, по замыслу архитекторов, должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: "Институт лингвистических исследований АН СССР".

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снега, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись наконец на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал, высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через грязную стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал из продукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: "Ну, чего встал, стояло?" — и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили.

Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: "Только там собрание..." — и я, хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Не часто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверьми, возникающими то справа, то слева, выставанный скрипучими неровными досками, опасно поддающимися под ногой. И не прямым был этот кори-



дор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери ошетиняются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вывел меня в конференц-зал. Но только здесь постиг я смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я ози-рал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: "Писатели — сюда". Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть и речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-

колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то скорее всего через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к местному. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну завотделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряжку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещи-

вал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади. С трибуны неслось:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его пороссячи, вечно неспранные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спроеу... (Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в столовой в нетрезвом виде да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: "Рогожин, я Вас люблю!" Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Муж-

ская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с угрюмым лицом расхаживает среди них и приговаривает: "Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают..." Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегают взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку — в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): "Однако же, какая струя!"

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валется друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается продемонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуган-

ный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. "Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?" Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: "Рогожин, я к Вам равнодушен!" Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас "И животноводство!" вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распушенности с трибуны больше не помнили, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки — напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покорило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: "Вы писатель, наверное?" — "Увы", — сознался я. "А как ваша фамилия?" — с юношеской непосредственностью осведомился другой. "Есенин", — сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятьем, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее впослуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросы, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекла их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно, один за другим мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простираяния дланей, задираание очей, горе и прочую шиллеровщину. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если за бугром снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало.

— Чушь проклятая! — гаркнул я. — Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать, — сказала Катька. — Я, может быть, в Ганду поеду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Шукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять — по следам мамыши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют.

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушенного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крикнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего же? — как обычно спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже, — как обычно ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в

голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, — сказала Катька, нарезаая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были, — произнесла Катька тихо. — Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о "Современных сказках", когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот — улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и приглашительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрехала тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О.Орешин.



Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какого содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот невероятный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял суфляж. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его за обыкновенного зоологического антисемита вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы — хватается то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет.

Дурак он, этот О.Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскоружлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть, и две трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным?..

И он затаил все сначала.

В общем мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливого Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасенья, крутилось у меня в голове. Нет им спасенья, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасенья ныне и присно и во веки веков, аминь! Я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Соколин, — теперь ничего путного в такую пору вам уже не

набарабанить, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва, Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: "Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!"

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... "Мы позвоним..." Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем... "Да. Было какое-то письмо. Чувшь какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждый, знаете, чих не наздравствуешься..."

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными

чернилами написано там было следующее. Без обращения.

"Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь, Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно".

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

## 6. Банев. Возбуждение к активности

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек, — кажется даже, с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедagogичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — "почти наша", всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов, не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что

говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагоприятное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, — утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет гораздо полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал, — по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять представилось в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает своего отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то... Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно — отдельное — воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой, — но что это был за пол и что

это была за вода, вспомнить оказалось совершенно невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем, ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага, — сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан.

Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, подумал он с некоторым испугом. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо, — славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же

он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господи Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со шитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с которым я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю; — сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул беспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо

вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр поднятием пальца остановил его.

— Друг мой, — сказал он. — Полпорции китчиганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю, — сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно этой округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема — деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевре-



менным критиканством, хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил; черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход: и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал — шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — во всяком случае лоску у господина бургомистра поубавилось прямо на глазах, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел совсем уже опустевший зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами вилить, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и

испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды, окружная администрация бездействует — вот такая у нас ситуация... — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько не развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди наши — это все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги гребли лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, острая стадия, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще — и все, как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь и нет... — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— М-да, — сказал Виктор. — А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна, в столичной газете, и подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев! А материал

животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу, здесь мокрецовского не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю,— сказал Виктор медленно.— Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штучки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки,— сказал бургомистр.— Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упираться на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольственные там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так-так,— сказал Виктор.— Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, этот, племянник...

— Фламин Ювента,— сказал бургомистр,— мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного,— сказал Виктор.— А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накипает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался. — Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клочок, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы мы все вам предоставим, можем предоставить даже этакую схему, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в корыстных намерениях... "Выдающиеся сыновья!" И ведь совершенно уверен, скоти-

на, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки свернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумую ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! "Совесть нации, точное зеркало" и прочее... Помню, как же... — Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. — Прощу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои подберутся. Только чур без жен. А?

— Вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и, чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А впрочем, что там говорить, есть, есть куда ехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменялся — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами. Человек был незванным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял,— сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый парнишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать,— сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся,— сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклоченную голову картуз. — Нигде правды нету! Налево едешь — задерживают, направо едешь — опять задерживают. — Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди,— проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул передний скат, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурочек и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский "харлей", а больше машин поблизости не было.

Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он. Известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом, — мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где "Братья по разуму", словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотики, вырезанные из журналов, в "бардачке" он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: "ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км". Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе сторо-



ны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. "Никогда я не был в лагерях,— пропел Виктор,— но не говорите: слава богу..." Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте,— сказал он.— Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства,— сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы,— сказал он сухо.

— Какие там документы,— сказал Виктор весело.— Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги,— сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага,— сказал солдат, и его лицо прояснилось.— То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду,— сказал Виктор, подняв указательный палец.— За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро,— сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башня, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, для них геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в

одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик.

— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не

выйдет. Ну, да мне нетрудно. Банев, значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил "харлей" с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рывкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно озираясь сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду на вас жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покрыва, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступая на шаг. — Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. — Вы меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский. — Ну как не тот! — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай руки! — сказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты, там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. — Здесь полиция.

— Ска-а-пление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте-давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура, — сказал он жуя. — Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близо, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь? Близо ведь!

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караул.

ку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его, — буркнул солдатик.

— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя, — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете?

— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой.

Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевавшего в засаде "харлея".

— Там впереди полиция, — сказал он мокрецу.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели "харлей". "Харлей" стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде "знаем мы вас". Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, — сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. — Но, если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортёж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду,

впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция до потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодуя хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверно, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та она или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, — глядишь, и оттаял бы человек.

— Надо же какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был, — продолжал Виктор. Тут его осенило. — И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, — и кто при таких условиях будет лезть из шкуры вон... Словом, обстановка создалась

такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: "Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел". Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере, и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления часто замигал, и тут мокреца с Виктором пригласили к началству.

Полицеймейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицмейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил



мокрец. — Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицмейстер. — Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены. — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев, — сказал мокрец, — если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания, — сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего, — отвечивал тот.

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к

стойке. — Как дела? — Тут он вспомнил. — А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. — Не так уж и много — разбил зеркало да рукомойник своротил. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного пороса. Ничего не соображал... Так вот ты, — он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, беднягу, в сортирной кабине, припер дверцу метлой и не выпускал. Ни в какую. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, что это Квадрига там. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал потрясенный Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришили бы тебе дело, вот что, — сказал Тэдди. — Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, и того похуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоём месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаэ заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в

порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представился ему теперь в совсем новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убратся тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алко-голик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицейстера. Хотя, честно говоря, задумано и выполнено неплохо... Он попрежнему не помнил ничего, кроме кафельного пола, сплошь залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, пороса ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибранный, любимец господина президента... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Рощ-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власти имущим, так что, и продаваясь даже, ты наносишь ущерб идеологическому противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю, — продолжал он, наблюдая, как Виктор отсчитывает деньги. — Чем это ты зеркало умудрился раскокать? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напишешь статейку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь — вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с порт-

фелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига; прямой и подтянутый, не смотря на свой насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги,— сказал Виктор.— Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались,— сказал Павор с упреком.— Говорил я вам: бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига.— Убил, наконец, кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Этот алкоголик, — сказал Виктор, обращаясь к Голему, — напился, как зюзя, загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига.— Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем.— Шить?

— Ну да, шить,— сказал Р. Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю.— Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов — словом, скучища... Обойдется,— ободряюще сказал он Виктору.— Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем,— предложил Виктор.

— Так о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно.— Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь,— сказал Р. Квадрига.— Конь. Дер пферд. Или дас.

— А все-таки,— сказал Виктор,— знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р. Квадрига, — нашей дивизией командовало его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчаливый до сих пор Голем. — Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р. Квадрига. — Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах, — ответил Р. Квадрига.

— Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь, — сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда успел?..

— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина — напивается, ну и бог с ней, а мы просто тихонько выпьем.

— Вот в том-то все и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей

гораздо больше основания напиваться, чем у некультурных.

— Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного, — объявил Р. Квадрига. — Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про эту вашу пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет, — сказал Павор. — Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически: рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас... Далее, мы обанкроти-

лись идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали; мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратернитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы: спастись пора.

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосиди. Это выпало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю, — сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор, — нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение! — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения, — продолжал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение: она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?..

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек сер, незаметен — значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?



— На кой черт вам понадобился этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. — Вы же сами пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— О да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая и мелкая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну хорошо, — сказал наконец Павор. — Поговорили — и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях, — сказал Голем.

— Это не мое дело, — легко сказал Виктор. — Пусть в

людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы мне это говорите? Опять "Виктуар, перестаньте бренчать"?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них короткие. То есть у бургомистра короткие, и у суда.

— А у Павора?

— У Павора руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу, — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы влутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы привораживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача. — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между

прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет,— сказал Голем.— Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно,— сказал Виктор.— Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина президента?.. Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем.— Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек,— возразил Виктор.— Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши.— Он насупил брови и закурил сигарету.— Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него,— добавил Голем.

— Вот именно. Дрался.

— С фашистами,— сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск.. Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет,— сказал Голем.— Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинается.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон.— Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем,— сказал Виктор, понизив голос.— Это правда, что вы — коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена,— заметил Голем.

— Господи,— сказал Виктор.— А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен,— сказал Голем.

— В общем, как хотите,— сказал Виктор.— Мне-то все равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы же ему не скажем,— доверительно шепнул Голем.— Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Странный генерал,— задумчиво сказал Виктор.— Генерал от лепрозории. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе,— сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заражны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще это — только моя гипотеза. Не обращайтесь внимания.

— Не обращаю,— грустно сказал Виктор.— А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны...— повторил Голем.— Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылся и откуда бы он взялся вообще?.. Потом, есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот

вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И, наконец, есть люди, которые живут будущим. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно, меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько

об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... Точнее, портвейн с табаком.

— Ладно,— сказал Виктор.— Значит, генерал Пферд. Ага... — сказал он.— И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом.— Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да,— сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет,— сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо,— произнес Виктор.— Надо сказать.

— Слушайте, Виктор,— сказал Голем.— Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже не успеете пикнуть.

— Меня испугать нетрудно,— сказал Виктор со вздохом.— Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи,— сказал Голем.— Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?

— Много,— согласился Виктор.— Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе,— сказал Виктор.— Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы,— важно сказал Виктор.— Я изучаю жизнь.

— Ради бога,— сказал Голем.— Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно,— возразил Виктор.— Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир, как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну,— сказал Виктор,— во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых — мало ли где мне могут дать по черепу? Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте вы, прибор,— сказал он.— Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался,— сказал Виктор.— Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот,— сказал Голем.— Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со

стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднапинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен, — напомнил Голем строго.

— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной как с товарищем, подлец, и все врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с



головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р. Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и, боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные, спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо, и никакой не писатель, какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать для меня — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р. Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мок-

рый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: "Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их..." Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки.

Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо, — он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет, — ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал

Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой.

— До свидания, Бол-Кунац,— сказал он.— До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что же Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер,— сказал он.

— Да, конечно, господин Банев,— ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замаялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо,— сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят,— нерешительно предупредил портье.

— Я знаю,— сказал Виктор.— Я и не думал их

беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев,— вежливо сказал он.

— Всекие могут быть,— вздохнул Виктор.— Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: "Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга".

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину,— тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед,— ответил Виктор.— Откройте на минутку.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром,— сказал голос за дверью.— Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал,— сказал Виктор, рассердившись.— Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов,— сказал он.

— Входите,— сказал долговязый.— Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите,— сказал долговязый. Он был в

пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принялся — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите, — сказал долговязый.

— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете, — сказал Виктор, — я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закричал от раздражавших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столи-

ке возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер,— сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне,— сказал долговязый.— Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда,— сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать.— Вот кресло,— сказал он.— Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно,— сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить.— Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим,— сказал долговязый.— И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый.— Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать.— Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим,— повторил он.— А откуда вы, собственно, все это знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно,— произнес он.

— Ваше дело — проверить,— сказал Виктор.— А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите,— сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан.— Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что,— ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское,— сказал долговязый.— Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте,— он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди,— сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей,— сказал долговязый и тоже выпил.— Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клянул.

— Ну? — сказал он.— Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламент... Ювента...

— Фламин Ювента,— подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так,— произнес долговязый.— Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу,— сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя не настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу,— сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

## 7. Феликс Сорокин. "Испитал"

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в "Жемчужнице". Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив район-

ного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот "Миллионный", разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими по замыслу архитектора изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке, а вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать — когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подросел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной утрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. И курили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И, подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо-дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих "Современных сказках".

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель и, если бы не



Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на "Современные сказки", болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца — как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслуженный окурочок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, заноса над головою голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) "Где автор увидел таких героев?" — спрашивали они кого-то. "Чему может научить нашего читателя такая литература?" — вопрошали они друг друга. "И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина..."

А потом грянул обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в "Добровольном информаторе", и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недомыслию, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще "Марсианских хроник" и даже не слышал, что такая книга существует. Я писал свои "Сказки", представления не имея, что у меня получаются "Марсианские хроники" наизусть: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, помоему, ей-богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы,

а некоторые читатели, оказывается, — одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и принялся есть.

— Вы разрешите? — произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным выющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: "Мне то же самое, если можно..." Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так, — сказал я. — А кто посоветовал?

— Да вот... — Он с готовностью принялся озираясь, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. — Странно, только что вот там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно не мыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И пахло от него — птичьим двором, этаким неопрятной кислятинкой. Станный он был тип: для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом.

— Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы

способны если и не поверить, то, по крайней мере, понять.

— Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув. — Собственно... вот!

— Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините, — сказал я решительно, — но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись, — сказал он быстро. — То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно, — сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует! — И, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте... — сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую к тому же очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... одиночество... никчемность... бесперспективность. Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну, хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун,

показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г.Дж.Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в Парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар, — сказал я. — Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет, — тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите! — крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: "пр. Грановского, 19, "Жемчужница", клетч. пальто".

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе, уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про "клетч. пальто", я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал из моего поля зрения.

Я опустил на стул и припал к кружке.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: "Что я скажу Федору моему Михеичу?"

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери с надписью "Писатели — сюда" и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись "Не входить!". Нижняя была темная, однако и на ней можно было

без труда различить надпись "Входите". По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде него у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: "Это надо же, жив! Опять жив!"

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены; небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни, и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это — мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то все это делается совсем не так, да и времена уже не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, — гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде.

Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны, любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загорodиться от него руками и заверещать: "Разговаривает!.."

Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до

меня вдруг дошло (словно холодной водой окатило), что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпитаграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, — добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по белораморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади...

И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос: как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам — отъявленные преступники; хуже того — палачи; хуже того — предатели! Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза. По слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое — выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик банальнейший, закрытая, но ставшая открытою недоброжелательная рецензия.

Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью, — наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов; И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары, и дряблые их, отечные щеки были изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных; нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеены, они уже на свалке и никогда больше не поднимут головы. В назидание потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится, и разве такие назидания нужны потомству? И вообще казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине

истории, и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться...

Но прошел год, и прошел другой, и как-то неувлочно все переменялось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а с чем надобно погодить.

И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имярек. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше?

Не суди и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А паче всего — не плюй в колодец и не мочись против ветра.

Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала.

Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной все. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно незащищен перед



нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева — описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам вывалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. Да что же это они с ним сделали? — с ужасом подумал я.

Впрочем, тут же выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троих увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать

двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — А! Так ты и музыкой балуешься? — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер. — Он сунул папку обратно мне в руки. — Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. "Не отдам, — говорит. — Эталон". Я ему говорю: "Какой там эталон, писано между делом, случайный заказ". А он отвечает: "Для вас — случайный заказ, а для нас — эталон". Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навывкате.

— Как же так? — прошипел он, вполне, впрочем, явственно. — Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично... — свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. — Лично... Сам!

— Пустяки, — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью. — Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирилыч...

— Да вы понимаете ли, что говорите? — спросил его Мефодий Кирилыч с каким-то даже отчаянием. — Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни! — возразил Петенька. — Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кирилыч, и маленько отдышимся...

— Лично! .. — прохрипел старик, послушно усаживаясь. — А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кирилыч, строчки читали, а надо было между, — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. — Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись "Входите". Как сомнамбула поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидевший за столом над рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько явственное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и, разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться, и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: "А ничего себе живут ученые, лихо устроились!"

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт павшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадают в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал, и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от

Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ошетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же? — Он постучал ногтем по папке. — Из этого матерьяла, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: "Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны..." Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы, — произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос. — Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же — надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет? — повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность!

Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого быть не может!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, оттремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше. Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации.

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникает в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И, словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действую-

шей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель "Испитала" — "Измерителя писательского таланта"; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение "Испитала", никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства "Московский литератор"; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, — предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад крошечный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще через день Мефодий Кирилыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется! — ответил он с некоторым даже удивлением. — А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да, — произнес он, как бы вспомнив. — Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

— Что значит — написал? — возразил я. — Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал.

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием "Испитал".

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих уdstаивал на кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидой испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак, реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно захотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти



шкафы и есть "Испитал"? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно, — проговорил он. — То есть в каком-то смысле — да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических...

— Впрочем, — сказал он, — проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием "Рождение голубки"... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Федикс Александрович.

Он не без труда отцепил от листков намертво прижавшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этаким мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там клистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и

порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все, — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру, — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. — Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное, — пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? — с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, — он снова постучал пальцем по моей четверке, — есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста... — заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае "читатель текста" — это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ, или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага... — сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я спросил с возмущением:

— Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное! — прервал я его, набирая обороты. — Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, — сказал я, — уж мне-то вы не рассказывайте. Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин — почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст, — он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии, — показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим? — спросил он.

Мы здесь видели щемяще-знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: "Как ныне собирается вещий Олег..."

— В чем дело? — спросил я с вызовом. — Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно, — сказал он. — Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну... — промямлил я. — Много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять — двадцать?

— За миллиард, — жестко произнес он. — За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард, — сказал я покорно. — Я же говорю — много...

— Итак, — произнес он, — тривиальная рецензия — НКЧТ равно четырем. "Замечательные, превосходные стихи" — НКЧТ превосходит миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь... — Я замахал руками и защелкал пальцами. — Песня-то... о вещем Олеге... Она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют, — он покивал. — И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгинет никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверь моего сознания: "Открой! Впусти!" Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого

отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну и правильно... — сказал я нерешительно. — И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович, — сказал вдруг он почти виновато. — Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаюсь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну что же... я пойду, пожалуй?

— Да-да, конечно, большое вам спасибо.

— Папку я возьму?

— Разумеется, прошу вас...

— А может быть, она вам...

— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

— Так что, мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами, и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:

— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запикиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскаль-

зываясь, по обледелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими, довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой резиновые камеры для "Москвича"), я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: "Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло".

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал даже — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, "избрали часть благую". В сущности, он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груды нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии,

той самой, удостоенной всех мыслимых лавров, — он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня, он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об "Испитале". А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же они успели бы?

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился набок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтенья, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных lamentаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права на посыпание песком обледелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало... бардак... конец света... Страшный суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знаконца: "Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли..." А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? "Боже, царя храни"? Или "Хорст Вессель"? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, ра-

зумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура Труб Страшного Суда.

Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на "ты" чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

За обитой дерматином дверью гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. За дверью грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось? — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось, — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. — Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай, — произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое, — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. — Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно... — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. — Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу, — сказал я, отступая от двери.



— Да, дорогой, — сейчас же согласился Чачуа. — Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня еще на час работы, потом "Спартак" будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется, есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... И коньячок. Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко замороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника эдакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик, хотя бы и прозы, и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути

дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу? А вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами, и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пыльщика, я переключил. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключил. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело шелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пыльщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пыльщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели кпд ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам безусловно был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Агаян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то-навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

"Война и мир". Не сегодня. Полгода еще не прошло.

"Письма Чехова". Не то настроение.

Чуковский. "От Чехова до наших дней". Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. "Скучную историю" перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал

коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. "Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй".

— Нет, — сказал я вслух. — Я сейчас "Театральный роман" почитаю. Ничего на свете нет лучше "Театрального романа", хотите бейте вы меня, а хотите — режьте...

И я взял с полки томик Булгакова, и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге, как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе матерьяльного благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со "Старым дураком". Валя ответил, что в "Ежеквартальном надзирателе" после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в "Губернском вестнике" да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть, в Швейцарии, а может быть, и в Швамбрании. Поэтому никто в "Губернском вестнике" мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь

называется "Старый мудрец", а вот сцену соращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это лучше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Ленья. Ах, не звонил! Ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы были деньги, рубликов триста пятьдесят — в "Планете" продается "Вашингтонская галерея", умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. "Кровавый урожай" там есть, и "Мальтийский сокол", и "Стеклянный ключ"... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И, принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля "тхюйен жонг", на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек "The Novels of Dashiell Hammett". Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на "Мальтийском соколе".

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэиду заявляются под утро лейтенант Данди и детектив Том, и тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся кряхтя и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот

несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют саке.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвигнул меня лукавый съехать на финских санях по крутому склону до самой речки. Все съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и, чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. "Сломали ребрышко-то", — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. "Ты знаешь, трещина у тебя, старик", — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. "Боюсь, переломчик у вас", — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что, поскольку бог любит именно троицу, злосключения ребра моего на этом

закончатся. Но, как видно, изба без четырех углов не строится...

Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегалополиса солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро! Горько, товарищи. Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся устраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан "Ла Паломы", в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты павшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся

на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил.

— Слушай... — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять "Спартак" пропер! Ну что ты будешь делать, а?

## 8. Банев. Гадкие лебеди

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно, — сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная, — совсем не та, что ворвалась к нему вчера в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошаточку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле вы-



глядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись,— сказала она.— Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь,— возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился,— сказала Диана.

— Ах да! — сказал Виктор.— Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак,— сказала Диана,— решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор.— Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди,— сказал Виктор.— Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне пришлось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь,— пробормотал Виктор.— Ты вот ему про писсуары рассказывала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время... — Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались.— Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня,— ответила Диана.

— Вечером?

— Угу,— сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера,— сказал Виктор.— Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно,— сказала она.— А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатею?

— Подожди,— сказал Виктор.— Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?... А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не редела...

— И вдруг все прошло,— сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила.

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: "Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!" Виктор замер с бритвой в руке. "Виктор! — хрипел Тэдди.— Открой!" — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли,— тяжело дыша, сказал Тэдди.— Собирайся, дети ушли!

— Постой,— сказал Виктор.— Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он.— Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон, Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор,— завывала она.— Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не

вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. — Погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли, маленькие, беспомощные, непонимающие, шли, плача, шли, молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали, и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кош-

марами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну; но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужнодвигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную сунружескую пару. Низкий рев сирен ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже "Братья по разуму" на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие,

перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватал глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, авто-

бусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только знакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только втягивали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышавшейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босиками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут мы и поднапрям...

— А ты пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!..

— Да-а, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!..

— Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией тебе же и по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

— Ворота отворяй!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны насадные вопли офицера ("...спокойствие... имею приказ... по домам..."), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал в отчаянии озиаться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: "Прошу внимания! Прошу собравшихся..." — а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричали раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. "Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!" Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, попятился



к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрывал все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людishками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня — приходите. В Лошадиной Лошине будет оборудован Дом встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжил Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В

первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, но потом... смотрите сами... А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. И не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, шенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка? Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите? — сказал громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же, — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду... Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что Голос снова скажет: "Идите!"

— и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубашках все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: "А где же водитель?"

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: "Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!" и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился — должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она по крайней мере сказала, — а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задерживал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, называли подонком, прогнали как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом,

проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уж ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: "Кусайте, как я", и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: "Удирайте, как я", и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: "Думай, как я", а это уже — преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, — эти-то как? Сначала: "Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было то-то и то-то, а получилось так-то и так-то". Только я не знаю, что это за "то-то" и что это за "так-то", и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: "Кусай, как я, и прячься, как я", — и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копыеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир,

будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

... И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание, без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте, — а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... Как Ирма смотрела на того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... И, уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

... Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, — а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определяю, я слишком мало знаю о

них, а из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд (не терплю генералов), а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянutom белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп "Братья по разуму", черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага, — произнес Виктор. — Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно? Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый,

в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я Зурзмансор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память... — Он замолчал. — Погодите, — сказал он. — Какой Зурзмансор?

— Павел Зурзмансор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его "очки"? У Зурзмансора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзмансора "очков", будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно. Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться.

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся что ответить и решил подождать с

беседой. В конце концов, не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и простодушно чавкали "Братья по разуму", гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали, — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О, черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: "Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?"

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор.

— Никак, — сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзмансор, — статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой



личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщаящее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова "враги свободы" заменяются словами "так называемые мокрецы", или "пациенты кровавого доктора", или "вурдалаки из лепрозория"... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. — Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза, —

я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского крысолова.

Зурзматор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатаешь?

— Диана, — сказал он. — А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозории. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзматор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозории за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан, — попросил Виктор.

— Я не буду, — сказал Зурзматор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду, — сказала Диана.

— Это за "Беду"? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за "Кошку". Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно, — сказал Зурзматор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков, лечебный корпус...

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей, — сказал Зурзматор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение.

Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух!.. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. "Братья по разуму" с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться... Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем.— Он помолчал.— Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайтесь внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно,— сказал он.— Опять меня покупают.

— Если угодно,— сказал Зурзмансор.— Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия,— сказал Виктор.— Карт-бланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила "нет"?.. Слушайте, Зурзмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно,— сказал Зурзмансор.— И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете.— Он снова помолчал.— Вы не правы, Банев,— сказал он.— Мы не покупаем вас. Мы

просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование, и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзматор. — Желаю успешной работы.

— До свидания, — сказал Виктор.

Зурзматор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила,

что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался... — Он снова помрачнел. — Соседи заедаются, — сообщил он. — А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, снова приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слыхали? — спросил швейцар.

— Нет, — сказал Виктор, насторожившись. — А что?

— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт, — сказал Виктор.

— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все, в общем, ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом встречи провести сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день,— сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— сказал он мрачно.— Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор,— сказал Павор.— Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет,— продолжал Павор,— весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман,— сказал Виктор.— Перестаньте ваянку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор,— произнес Павор укоризненно.— Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молот? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу,— объяснил Виктор.— А если уж бьет — бывают обстоятельства,— то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем,— сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось.— Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман,— сказал Виктор, облизывая ложку.— Я всегда недолго любил людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно — здоровенный мужик, и каратэ, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете,— сказал Павор.— Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиниться за то, что я — работник известного вам департамента,— продолжал Павор,— я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох,— и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается

такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно у меня было верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, — и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы когда-то были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, — сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений: начальство приказало — вот он и работает, за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтоб вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ слу-



жебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: "Сядьте", а Павору сказали: "Встаньте".

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор белый, даже какой-то синегато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу и, пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или по крайней мере выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли

рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что будет, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: "Одну минуточку" — и удалился в спальню направо. Виктор присел на стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан, и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль "Серебряный Трилистник Второй Степени" в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся прищипливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера "Трилистника"! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона, вы же там, в кругах... — он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и сунул ему представление на вас. — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал: "Какой Банев? Куплетист? Ни за что!" Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю... Что там у вас с ним получилось?

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорили.

— Вы действительно пишите книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— Ком си, ком са.

— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно, — сказал он.

— До свидания.

— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — утрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер "Трилистника Второй Степени", посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-сине-го лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пфферд с вами, генерал

Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденоносными объятьями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стена от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни пить, ни писать... ох, надоело пить и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам; и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но "стал уставать" — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук

мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,  
Даже от песен стал уставать.  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,  
С водки — похмелье, а с девок — что взять?  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
И позывных не передавать...  
Сыт я по горло, сыт я по глотку,  
О-о-ох, недосело пить и играть!  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
Чтоб не могли запеленговать...\*

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо пони-

---

\* Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора.

мают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона и абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом: Легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом — и опять же без меня. Все прекрасно обошлось без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же, кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Да ни хрена подобного!.. А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменялось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент — лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без, — сказал Голем. — Но это неважно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел "Мы храбрые ребята", потом "Урановые люди", потом "Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу", потом "Сыт я по

горло", потом "Равнодушный город", потом про правду и ложь, потом снова "Сыт я по горло", потом затянул государственный гимн на мотив "Ах, какие ножки у нее", но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем как следует. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне ввали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зузр... с Зу... с Зурзмansomом. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмansom сказал вам, что он здоров?

— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.



— Очковая болезнь,— сказал Голем,— это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал.— Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал,— возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся.— Задавайте вопросы,— сказал он.— Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор.— Я занят!

— Простите, господин Банев,— сказал робкий голос портье.— Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо.— Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал:

— Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет,— сказал Виктор.— Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустил до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака,— сказал Виктор.— Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань,— сказал Виктор, морщась.— Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья,— объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем,— сказал он.— Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно,— сказал Голем,— дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир,— сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще — очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите,— сказал Виктор.— Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет,— сказал Голем.— Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете,— сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина,— сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает,— заявил Виктор.— Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка,

разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось,— ответил Голем.— В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами,— сказал Виктор.— Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор,— хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья,— сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла,— медленно сказал Голем.— За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы,— сказал Виктор.

— Ну нет,— возразил Голем.— Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю,— сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем,— сказал он.— Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор,— спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, расскажите еще что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было

очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. "Диана!" — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?... А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, но его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не надирался, однако... Павор... "Серебряный Трилистник"... Когда это было? Вчера? Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Встать бы надо, попить, то, се... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?... Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид

— для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе этого супермена: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперменов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открыл кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов.

Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает шупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками, некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать.

Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?..

Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть: секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу Галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну, вот и все,



подумал он, ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвостун. Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставляли между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла, — сказала она. — Пускают погреться?

— Да, — сказал он, плохо понимая, что говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск растегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, утрясые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуть-

ся, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но теперь это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием. — Вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки.

Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Слопали небось килограмма два, — сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: "Вы же сами говорили... волдыри... сыпь..."

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем усмехнулся.

— Выпейте коньяку, — предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмеля. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель, — сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный воздух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище,— сказал он официанту.— Бутылку джина, лимонный сок и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики,— сказал он Голему и Р. Квадриге.— Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

## 9. Феликс Сорокин. "...Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?"

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности, будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тутим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатизатажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбегать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. "Катя!" — закричал я, и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждениям Катки и лечь на обследование... и сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение — чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметает мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда словно сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невестельный мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: "Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно..."

Умненькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном неременном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: "А дела твои, Феликс

Александрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, и утрись".

Я отбросил одеяло и стал нащаривать ногами тапочки.

А ведь и не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем это мне знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но, с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не онанизмом занимаюсь — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я и последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду, и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас

вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неизвестную мне, ненаписанную строчку и под нею слово "КОНЕЦ". Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душою: "Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!" — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

"Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окуроч в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос".

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово "мокрую" и добавил после "черным-черно": "и в черноте сверкал дождь". Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский механический до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков. Никакого трепача. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полужнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: "Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...", то ты вернешься через двадцать шесть суток домой как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем... А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдташе!..

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные "Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!". А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

Она жила в квартире N 19, занимала там крошечную комнатуху бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф.Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф.Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в сорок третьем) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф.Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф.Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась неимоверной, тягостное и безрезультатное перешушывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения



семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзе не знал еще тогда Ф.Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам в возрасте, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф.Сорокина уникален? Ф.Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф.Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф.Сорокину было лестно.

Однако тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф.Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф.Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру N 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его

ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать сломя голову, либо свалился бы в обмороке.

Я поднялся кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурок, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух.

Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф.Сорокина за руку и ввела в свою комнатнушку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф.Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф.Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядом в августе сорок первого года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф.Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры N 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатнушку, и они запирались там и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф.Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не пришлось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной — для Ф.Сорокина несомненно, однако, — наверное,

и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры N 19, Ф.Сорокин уже начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпенье, радость и страх и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето сорок первого. И ни разу Ф.Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с ней.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф.Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе сорок второго года) всю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф.Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф.Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на

сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда запрещаю себе вспоминать это? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец, и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек: "Перебьемся!" И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?  
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намек на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил "скайдрой" ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-приветственного вопроса "как дела" не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда.

Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: "Да не спеши ты, куда нам спешить?"...

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне

навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из Гершвина, державший в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну, разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеваный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. — Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, — я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озаренье, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки "Современных сказок" и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в

других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рискованный мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремение, а?

Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как он там... с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову.... Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же, припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из "Московского плейбоя" дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: "Врежь ты ему по соплям и ничего не бойсь, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в предынфаркте". Повесть действительно была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный "Московского плейбоя". Нет, поперли его за то, что он "ел хлеб беззакония и пил вино хищения". И вот теперь этот идиот, поэт

Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так, и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал — не без оснований, впрочем, — что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.

И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилося отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправка от очков, ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во



всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера "Прапорщика" с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием "Стережем небо!".

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съеденье с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории кургузной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстукке бабочкой и при газете "Морнинг Стар", которую он читал с непреступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные, — то ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распушенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, на-верное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые пели, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сме-нился тут же Александром Александрычем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и конечно же: "Их сиятельство уехали в Цека..." Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился

у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. "А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врассыпную за кусты и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, бывало: "Побежали в лес по ягодицы..." Константин Сергеевич... "Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович..." Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неискаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман сава, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу, в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес. то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в партком.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за

ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантазмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упусти, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет более раскрывать мою Синюю Папку.

Как во сне услышал я брюзгливое барственное бляение:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извин-

няться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и краснотубый и вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — ...в архитектуре и в животноводстве... Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер "Ежеквартального надзирателя". Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимой, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся.

— А! Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. — "Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"

Он закрыл журнал, заложивши его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него, и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович, — сказал он наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. — Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя как во сне.

— Однако давайте наконец приступим к вашему делу, — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. — Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и проце-дил сквозь платок, прижатый ко рту:

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал. Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и пред-

ставить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унижительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, неведь что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа "Товарищи офицеры"; как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синей Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тыс., означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня, — закончил он с сочувствием в голосе. — Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней, — продолжал Михаил Афанасьевич, — то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта кажется мне серьезной, и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение, и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите,



вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня — насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович, — сказал он. — Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово покрасневшего человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы.

Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, — это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой — я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотечарша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и

принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

Город смотрел на них пустыми окнами — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря, и вот наконец его вытащили на поверхность, на посмеище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, иставали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало...

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал и почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки, но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова "конец" и, может быть, даты.

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашкой головкой, пробормотал: "Странно... Когда это он успел?.."

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был

возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.

## 10. Банев. Exodus

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль "Виктория", сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два крута копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречается женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих Норе вареную морковь, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: "Здесь живет немецкая овчарка". В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отве-

чает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в "Атакаме", мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпёж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает сохранившийся со времен Сопротивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое

окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыв сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: "Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна"...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: "Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку". Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в мокрую ночь и позвонил портю. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками...

Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью "Посадки нет". Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл "За кулисами большого города" все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь не поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спустишь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожду вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его превосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные

лагеря... что согласно табелю о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. "Эге!" — сказал Виктор вслух, лампа загорелась снова, но вполнакала. "Эт-то еще что?" — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, да и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. "Кто там?" — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым светом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: "Банев, эй, Банев, ты здесь?" Отпустив вполголоса идиота, Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев... — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось,— сказал он.— Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открыл кран. В трубах заворчал, вылилось несколько капель.

— Тебе что,— сказал Квадрига,— воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея.— Война? Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге,— сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай,— бормотал он.— Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем,— сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу.— Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал. За конторкой сидел Зурмансор.

На месте портье сидел Зурмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев,— сказал он, не поднимая головы.— Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать,— возразил Виктор. Голос у него сорвался.— Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурмансор поднял желтое лицо.

— Нет,— сказал он.— Мы больше не работаем. Прощайте, Банев.— Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам.— Такова жизнь,— сказал Зурмансор.— Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное,



это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие про-

должали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер,— сказал Голем.— Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так,— сказал Виктор и тоже посмотрел на часы.— В четыре или в пять у Солнечных ворот.— Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть,— сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор.— Это там, где вилла нашего доктора?

— Вот-вот,— сказал Голем.— Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить,— сказал Виктор.

— Да,— сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо.— Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать,— небрежно сказал Виктор.— Я две ночи не спал.— Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль.— Ладно, я уйду,— сказал он.— Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да,— сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да,— сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да,— сказал Голем.— Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно,— сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит,— сказал Голем.— И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану,— сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все,— сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели,— сказал Голем.— Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев,— позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла.— Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый,— сказал Квадрига.— А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду,— твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе,— предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в крошечную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он.— Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно

было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. "Все бегут,— бормотал Квадрига.— Все удирают. Одни мы тащимся..." Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: "Банев! Где ты?" Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: "Ну, что слышно?" — "Темно, так и не так..." — ответил Виктор. "Точно! — с энтузиазмом подхватил голос.— И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать". — "А что будет?" — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: "Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!" И окошко захлопнулось. Поташились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш... Налетели на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. "В чем дело?" — свирепо спросил Виктор. "Дерется,— обиженно сообщил Квадрига.— Прямо по печени. Ящиком". На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: "Военный патруль. Предъявите документы". У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: "Шпаки. Пропустить". Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно мета-

лись золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Ответы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно оступел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльце красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. "Банев! Где ты?" — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все,— сказал Виктор сквозь зубы.— Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. "Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке.— А-а-а!" Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, да ведь я тебя знаю,— сказал Виктор.— Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор.— Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он.— Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал, и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно,— сказал Виктор.— Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, голько не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую,— тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат,

возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобится в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба,— сказал Виктор.— Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: "Пришли, слава тебе, господи..."

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бежал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него,

разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неопишемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода,— робко подал голос солдатик.— Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из горлышка. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: "Боже мой!", а потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что тарашисься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатiku.— Засранец ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись.— Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь ты на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фиги невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечесьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.



— Одна вода,— сказал он.— Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй,— сказал Виктор.— Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихвати.

— Нет,— сказал Квадрига.— Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать,— приказал Виктор.— Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост в восемь часов вечера, дождь крошечный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздастся нечеловеческая, какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы — и в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сиденье, без фуражки, без плаща,— лупит шофера в шею и орет. "Давай, сукин сын! — орет.— Давай!" Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался сюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. "Вот же человек,— твердил он, тыча вилкой в сторону

заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был..." Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взрывывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, сплошь талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один Новый Порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уже известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал... Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срывать с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмалства приучены-с.

Либо ура-ура, либо пошли все все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение не встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен, и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе ордунг, альте ордунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или аномально трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не вызывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска,

смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?... Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно. Это же Ирма, подумал Виктор. "Ирма!" — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он утрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой напозлали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задраным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу

лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени, и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатики в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и не глупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги устремился к воро-

там, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа; отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно проползли вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине, — сама телега со старым продран-

ным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были "Братья по разуму" — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то подавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхла отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколь-

ко километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Ну что, Голем, грядет новый мир?

— Да,— сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет,— сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет,— повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет.— Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно,— сказал Виктор.— Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал,— сказал Виктор улыбаясь,— но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь,— сказала вдруг Диана и вылезла из машины.— Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю,— сказала Диана.— У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо,— сказал Голем.— Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть,— возразила Диана.— Не может же он уехать, не посмотреть...

— Вот именно,— подхватил Виктор.— На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети,— сказал Голем.— Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне,— сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим,— сказал Виктор.

— Господи,— сказал Голем,— как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно... — Он словно убеждал самого себя.— Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время.— Он включил скорость.— Где тетрадь, Диана?... А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.



— Да,— сказала Диана.— Он так и хотел.

— Голем,— сказал Виктор.— А вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу,— строго сказал Голем.— Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город,— покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жель и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, стаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а невдалеке от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда теперь не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди,— сказал Виктор.— Остался?

— Ага,— сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их,— сказал Тэдди.— Набились как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем

тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите,— сказал Тэдди.— Я уж посижу. Ходок я теперь некудышний, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: "Хорошо!" Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть — пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: "Кх-х!"

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна, — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но только вот что — не забыть бы мне вернуться.

*Ленинград — Москва  
Октябрь 1966 — сентябрь 1967  
ноябрь 1980 — ноябрь 1982*

## СОДЕРЖАНИЕ

Далекая Радуга . . . . .	3
Отель "У Погибшего Альпиниста" . . . . .	113
Хромая судьба . . . . .	289

*"Библиотека фантастики" в 24 томах*

Том 21, кн. 1

**Стругацкий  
Аркадий Натанович  
Стругацкий  
Борис Натанович**

**Далекая Радуга  
Отель "У Погибшего Альпиниста"  
Хромая судьба**

Романы

Редакционная подготовка АО "АРС"

Издательская лицензия ЛР № 010178 от 31.01.92 г.

Сдано в набор 01.09.1996. Подписано в печать 01.10.1996.  
Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная  
Бумага газетная. Усл.-печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,96  
Уч.-изд. л. 33,58. Тираж 20000 экз. Заказ 2179

Государственное издательство "Дружба народов"  
Государственного Комитета Российской Федерации  
по печати. 101424, Москва, К-6, ГСП, ул. Петровка, 26

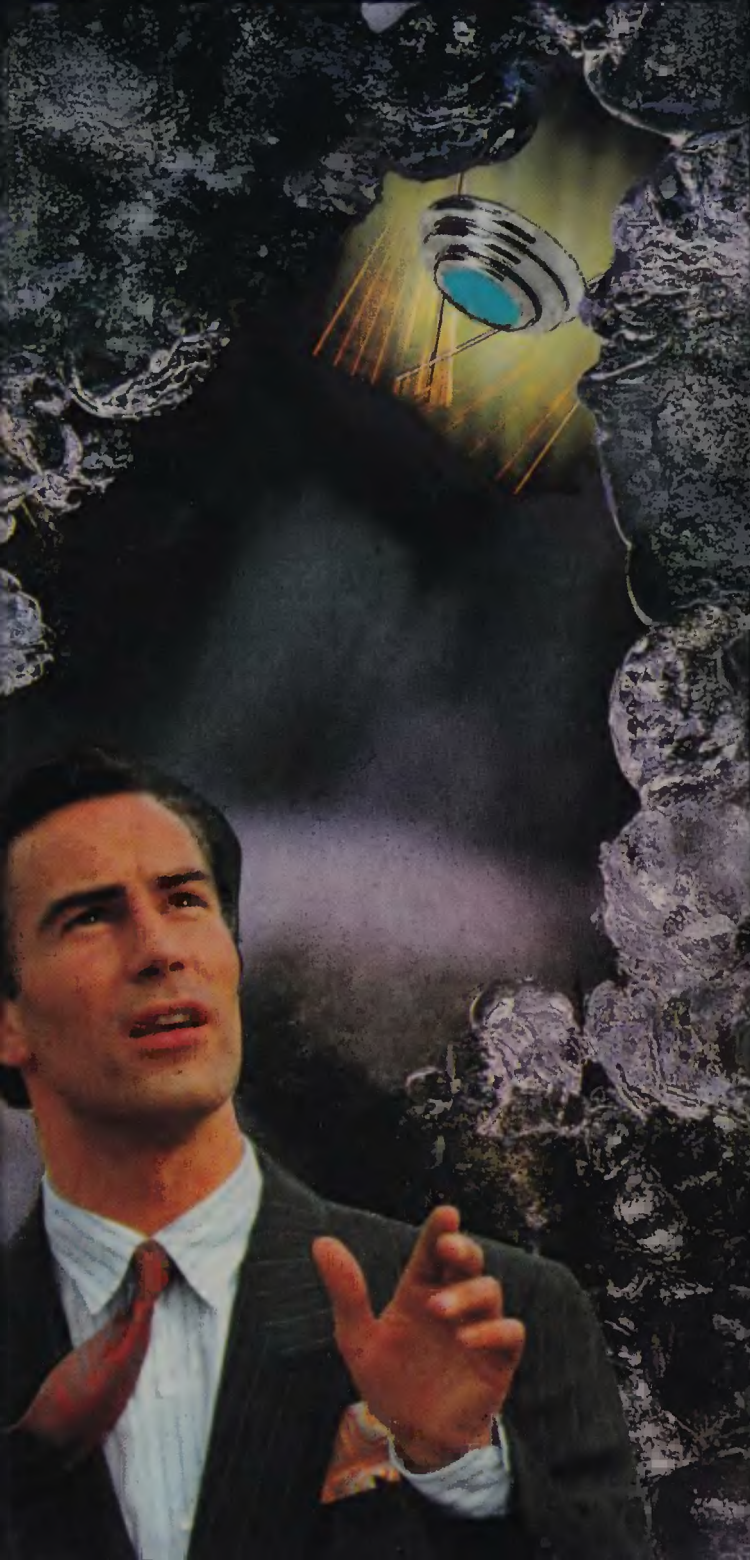
Диапозитивы изготовлены в издательстве и типографии  
газеты "Красная звезда". Москва, Хорошевское шоссе, 38

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в полиграфической фирме "КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ"  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.









БИБЛИОТЕКА  
ИЖИСЯНЪО

Далекая Радуга  
Отель «У Погибшего Альпиниста»  
Хромая судьба

Аркадий СТРУГАЦКИЙ  
Борис СТРУГАЦКИЙ